

Генрий Поздеев

Песнь наковальни



Евгений Поздеев

Песнь наковальни

<https://litres.ru/73929689>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он был кузнецом, и его богом было железо. Она — королевой без короны, которую предал собственный наставник. Когда демоны сожгли деревню Михеля, а инквизиторы бросили Изабель в тюрьму, у них не осталось ничего, кроме ненависти и молота. Но война с Бездной оказалась лишь началом. Главный враг — не рогатые твари. Главный враг — человек в золотых одеждах, который давно продал душу, но продолжает молиться.

Им предстоит пройти через пепелища, снежные перевалы, предательство, потерю и любовь, которую не ждали. Вместе с эльфийской княжной, разучившейся верить, и старым летописцем, который берется за меч.

Эпическая фэнтези о тех, кто не умеет сдаваться. О кузнеце, перековавшем свою судьбу. О простых людях, которые оказались сильнее богов.

Война не заканчивается победой. Она заканчивается, когда ты возвращаешься домой и забиваешь первый гвоздь.

Евгений Поздеев

Песнь наковальни

ПРОЛОГ: Кровь на карте мира

(От лица Летописца Ордена Грифона, фрагмент свитка CLXII)

«Знай, читающий эти строки: Асхан не всегда был полем битвы. Когда-то Драконы-Созидатели — Асха, Сильван, Ирил и прочие — пели миру колыбельную из звёздной пыли и первородного огня. Но песня давно оборвалась. Сегодня мир поёт только сталью и стонами умирающих.

Восьмой год. Восьмой год с того дня, как Архидьявол Кар-Белег разорвал печать Бездны. Говорят, его клинок был выкован из проклятия, которое маги Академии произнесли в шутку. Говорят, он носит корону из черепов девяти драконов. Говорят, он всё ещё помнит своё человеческое имя.

Но я, летописец Годфри, скажу вам правду: демонов не остановить клинком. Их не остановить молитвой. Единственное, что держит их у ворот Империи — это надежда. А надежда, как известно, умирает последней... и рождается в самых грязных руках».

(На полях свитка приписка красными чернилами, сделанная дрожащей рукой чуть позже):

«Год 512-й от основания Империи Грифона. Сегодня Изабель, вдова короля Николая, покинула столицу с двадцатью

рыцарями. На север. К варварам. К эльфам. К тем, кто называет себя "вольными людьми". Говорят, она везёт древний артефакт — Слезу Дракона. Говорят, её отряд сопровождает какой-то кузнец. Глупости. Какая леди возьмёт в спутники кузнеца?

Но если вы читаете это — значит, Свеча Империи ещё не погасла. Молитесь не за Изабель. Молитесь за тех, кто идёт с ней».

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Песнь наковальни

(Деревня Три Дуба, окраина Империи Грифона. За три дня до начала вторжения.)

Михель проснулся от того, что угли в печи шептали его имя. Это было не в первый раз. Старая кузница его отца, пережившая три набега разбойников и один пожар, всегда казалась живой. Каменный горн, выложенный ещё прадедом, дышал жаром даже в лютый холод. Кожаные меха хрипели, как больные псы. А наковальня — тяжёлая, в полчеловеческого роста, выломанная когда-то из руин древнего храма — помнила удары молотов, которых не слышал никто из живых.

— Тш-ш-ш, — прошептал Михель, потирая затекшую шею. — Рано, кузня. Солнце ещё не встало.

Угли заворчали, но затихли. Он жил один. После того как брата забрали в Орден — а потом принесли весть, что он «пал смертью храбрых» на южных рубежах, — мать угасла за зиму. Отец ушёл искать правду в столицу и не вернулся.

Говорили, его зарезали в переулке серебряные маски — Инквизиторы, которые очищают улицы от «недовольных». Михелю тогда было шестнадцать. Он взял молот отца, поднял меха и сказал кузне:

— Теперь мы работаем вдвоём.

Кузня, кажется, согласилась. Он встал, накинул промасленную рубаху. На деревянном стуле лежал кусок чёрствого хлеба и кружка кислого молока — вчерашнее подношение старой Мег, чью крышу он починил за два медяка. Михель ел не глядя, слушая утренние звуки деревни Три Дуба. Петухи не пели.

Это было странно. Второе утро подряд. Он выглянул в щель ставня. Над восточным лесом, там, где начинались земли барона Альдрика, небо было не серым — оно было рваным. Словно кто-то гигантской метлой размазал зарю, оставив за собой багровые полосы. И пахло... пахло не лесом. Не утренней росой. Пахло гарью. Но не той, которую оставляет хороший, правильный огонь — дрова в камине, угли в кузне. Это была кислая, тошнотворная вонь, от которой першило в горле.

— Гарпии? — прошептал Михель, но сам не поверил.

Гарпии не жгут. Гарпии воруют скот и детей. А это... это пахло тем, о чём шептались старики в таверне, когда думали, что молодые не слышат. «Рогатые», — называли они их. — «Те, кто пришёл из-за Кровавого разлома».

Михель перекрестился на старый алтарь в углу — ржавый символ Дракона Света, от которого отец когда-то хотел избавиться, но мать не позволила. Молитва вышла корявой и сбитой. Он не умел молиться. Как просить Дракона о помощи, если ты никогда не видел ничего светлее собственного горна?

— Мне нужна сталь, — сказал он вслух, услышав свой голос. — Не молитва. Сталь.

Он взял молот. Спустя три часа, когда солнце наконец поднялось над лесом — бледное, болезненное, похожее на глаз умирающего дракона — в деревню прискакал всадник. Это был не гонец Империи. У того было бы знамя с грифоном. Не разбойник — у того была бы банда.

Это был просто человек на мёртвой лошади. Михель увидел его из кузни. Всадник шатался в седле, лицо его было серым, как старая зола, а правая рука... правой руки не было. Только чёрный обрубок, перетянутый грязной тряпкой, из которой сочилась сукровица.

— Воды... — прохрипел всадник, когда лошадь рухнула на колени на деревенской площади. — Имени... имени Дракона... воды...

Сбежались люди. Старая Мег принесла ковш. Кузнец Торман — толстый, ленивый мужик, которого Михель презирал — перекрестился и что-то забормотал. А всадник пил, давился, а потом отбросил ковш и заговорил. Быстро. Сбивчиво. Со страхом, который делал его голос похожим на скрип

несмазанной телеги.

— Крепость пала, — сказал он. — Барон Альдрик... его голова на пике. Их ворота... они открылись изнутри. Кто-то... кто-то помолился не тому богу. А потом пришли они... с красными глазами и с серпами вместо рук... они не бегут, не прячутся... они...

Он замолчал. Навсегда. Глаза его остекленели. Рот открылся, и оттуда выползло что-то чёрное, похожее на жирную гусеницу. Городские женщины завизжали. Мужчины попятились. Михель шагнул вперёд. Он не знал, что делает. Просто подошёл, выхватил из-за пояса кинжал (овощной, тупой, он точил его только вчера) и одним движением отсек тварь от лица мёртвого. Гусеница забилась на земле, зашипела и сгорела, оставив пятно жирного дыма.

— Порча, — прошептал кто-то сзади.

Кузнец Торман заревел благим матом:

— Нужно бежать! Ко всем драконам! К столице! К...

— Поздно, — сказал Михель.

Он смотрел на восток. Там, за лесом, над тем местом, где вчера ещё виднелись башни крепости барона Альдрика, поднимался не дым.

Поднимался пепел. Мелкий, серый, невесомый. Он летел по ветру, оседал на крышах, на лицах, на хлебе, который кто-то выронил из рук.

А за пеплом шёл звук.

Михель слышал его раньше — один раз, два года назад, когда медведь забрёл в деревню и разорвал свинарник. Это был рык. Но не медвежий. Ниже. Глубже. Так рычит земля перед тем, как расколоться надвое.

— Берите детей, — сказал Михель, но его не слушали. —
БЕРИТЕ ДЕТЕЙ И БЕГИТЕ К ЛЕСУ!

И тут из леса, с восточной стороны, вышли они.

Михель видел демонов только на картинках в старых книгах брата — грубые гравюры, где рогатые твари пожирали младенцев. Он думал, что это выдумки. Что настоящий враг — это человек. Разбойник. Королевский сборщик налогов. Сосед, который завидует твоему плугу.

Он ошибался. Первое, что он понял, увидев демона: они красивые. Это была неправильная, больная красота. Кожа — тёмно-красная, будто спекшаяся кровь. Рога — изогнутые, как корона, из них сочился пар. Глаза — без белков, без зрачков, просто два горящих угля. И улыбка. У каждого была одинаковая улыбка — широкая, человеческая, почти дружелюбная. У того, что шёл первым, в руке был не серп. Был клинок, выкованный из того же материала, что и их кожа — живой, пульсирующий, с каплями крови, которые не падали на землю, а втягивались обратно в лезвие.

— Привет, — сказал демон. Человеческим голосом. Почти ласково. — Мы ищем вашу леди. Ту, что с короной. Вы не видели?

Никто не ответил.

— Жаль, — вздохнул демон. — Тогда вы — просто мясо. Он взмахнул клинком. И мир вокруг Михеля взорвался криком.

Осталось воспоминание. Обрывки. Картинки.

Пламя, которое горит не так — чёрное по краям, зелёное в середине.

Старая Мег, ползущая по земле с перерезанным горлом, а её внучка — пятилетняя Лина — висит на руке демона и кричит так, что у Михеля закладывает уши.

Кузнец Торман, который пытается ударить демона молотом, но его голова летит в одну сторону, а тело в другую, а молот почему-то всё ещё сжимает мёртвая рука.

И тишина. В какой-то момент крики стихают. Потому что некому кричать.

Михель стоит у входа в свою кузницу. В руках — ничего. Он выронил кинжал, когда увидел, как демон засмеялся.

«Трус, — говорит ему внутренний голос голосом брата. — Ты всегда был трусом. Поэтому ты жив. А я мёртв».

Демоны его не замечают. Для них он — мебель. Крестьянин в грязной рубахе без оружия.

И тогда Михель делает шаг назад. В кузницу.

Он не думает. Он действует. Руки сами находят кочергу — длинную, железную, с крюком на конце. Она была в печи всё утро. Она раскалена добела.

Михель выдыхает. И выходит обратно.

Демон, убивший Тормана, стоит к нему спиной. Всего в

трёх шагах. Его клинок поднят над головой женщины, которую Михель не знает по имени — просто чья-то мать.

— Эй, — говорит Михель. Голос не дрожит. Странно. Демон оборачивается. Улыбается.

И получает раскалённой кочергой прямо в глаз.

Звук, который издала тварь, не был похож на крик. Это была песнь. Высокая, чистая нота, такая, какой Михель не слышал никогда в жизни. Демон упал на колени, зажав лицо руками. Из-под пальцев текла не кровь — текла лава.

Кочерга выпала из ослабевшей руки Михеля. Он смотрел, как наконечник плавится, как железо становится жидким, как сама кузница... поёт? Или это просто кровь стучит в висках?

Второй демон, тот, что пришёл первым, медленно повернул голову на звук.

— О, — сказал он с интересом. — А этот забавный. Не убегает. Даже оружие нашёл. — Он наклонил голову, и его угольные глаза впервые замерли на Михеле. — Знаешь, парень... у нас есть работа для таких, как ты. Шакалы. Прихвостни. Те, кто выживает под новым солнцем.

Он протянул руку. Ладонь раскрылась, и из неё вырос цветок — чёрный, колючий, с лепестками из тени.

— Возьми. И ты будешь жить.

Михель посмотрел на цветок. Потом — на женщину, которую демон собирался убить. Потом — на кучу пепла, которая ещё минуту назад была его кузницей.

— Я кузнец, — сказал он. — Я не беру в руки того, что не сделано из железа.

Демон, казалось, удивился. А потом засмеялся — громко, раскатисто, и все остальные твари подхватили его смех.

— Тогда умри, кузнец.

Он взмахнул клинком...

...и в этот момент небо над Тремя Дубами разорвал крик живого грифона.

Это было не животное. Это был символ. Настоящий грифон из императорских конюшен — белый, как первый снег, с золотыми глазами и когтями, которые вспарывали камень. На его спине сидела фигура в сияющих доспехах.

— Именем Дракона Света, отойдите от людей, отродья Бездны! — голос был женским. Звонким. Но в нём не было страха.

Демон замер. Его улыбка сползла.

— О, — сказал он. — А вот и та, кого мы искали.

Фигура прыгнула с грифона. Приземлилась между Михелем и демоном. Меч, выкованный из чистого света, вспыхнул в её руке.

Она сняла шлем.

Михель увидел лицо Леди Изабель. Не с гравюр, не из слухов. Живое. Бледное. С усталыми глазами цвета серого стекла. С родинкой над левой бровью. С губами, которые уже знали вкус поражений.

— Ты жив, кузнец? — спросила она, не оборачиваясь.

— Д... да, — выдавил Михель.

— Хорошо. — Она улыбнулась — той улыбкой, которую дают тем, на кого уже не надеялись. — Держись за мной.

И свет меча смешался с болью старых ран.

ГЛАВА ВТОРАЯ: СЕРЕБРЯНЫЕ МАСКИ

(Три дня спустя после битвы у Трёх Дубов. Лесная дорога к северу.)

Я никогда не думал, что смерть может быть такой тихой. В моей деревне, когда кто-то умирал, плакали женщины, мужчины пили горькое вино, а старухи причитали так громко, что слышно было на трёх дворах. Смерть была шумной. Она врывалась в дом, как непрошенный гость, и требовала к себе внимания. Помню, как умер старый кузнец Эвальд — так соседка-травница заголосила, что у моего отца рассыпались по полу все угли. Смерть на войне оказалась другой. Она была шепотом.

— Михель... Михель, ты слышишь меня?

Голос шёл откуда-то издалека, продираясь сквозь вату в ушах. Я слышал. Но не мог ответить. Мои губы слиплись от крови — не моей, чужой. Демонической. Та тварь, которую я забил кочергой, в агонии выплюнула мне в лицо что-то чёрное и липкое. На вкус это было как пепел, смешанный с железом и прогорклым маслом. Оно засохло коркой, и теперь каждый раз, когда я пытался открыть рот, кожа на губах трескалась и начинала сочиться сукровицей. Тонкие, горячие струйки стекали по подбородку и щекотали шею.

— Он не может говорить, миледи. Язык цел, но губы... нужно промыть святой водой.

Это сказал рыцарь в плаще цвета запёкшейся крови. Я запомнил его лицо: изуродованное старыми ожогами, с провалом вместо носа и глазами, которые смотрели в двух направлениях сразу. Один глаз — на меня, другой — на мою правую руку, и это раздвоенное внимание казалось одновременно пугающим и забавным. Его звали... кажется, сэр Альберих. Или сэр Альдерик. Я плохо запоминал имена рыцарей. Они все казались мне одинаковыми — высокомерные, злые, с идеально выбритыми подбородками и мечами, которые никогда не знали тяжести крестьянской работы. Но этот был другим. Он не смотрел на меня свысока. Он смотрел сбоку, своим вывернутым глазом, и в этом взгляде не было презрения. Было что-то похожее на... узнавание. Словно он когда-то сам лежал так же — на сырой земле, с запёкшимися губами и чувством, что тело перестало быть твоим.

— Святой воды нет, — ответила Изабель.

Её голос прозвучал совсем рядом. Я повернул голову — и чуть не вскрикнул от боли в шее. Леди сидела на корточках в трёх шагах, опершись спиной о берёзу. Её лицо было серым — не бледным, а именно серым, как зола, которую перемешали с глиной. Под глазами залегли фиолетовые тени, а губы потрескались. Она уже два дня почти не спала. — Бернар забрал весь запас, когда уходил. Бернар. Я слышал это имя уже трижды за последние часы, и каждый раз — с ноткой страха,

которая поднималась откуда-то из живота и сжимала желудок в холодный комок. Даже рыцари, которые не боялись демонов, прикусывали язык, когда произносили «инквизитор Бернар». Я видел его мельком — высокий, сутулый, в белом, пахнет ладаном и чем-то кислым. Он не смотрел на людей. Он смотрел сквозь них, как смотрят в окно на пустую улицу.

— Тогда мочу, — пожал плечами изуродованный рыцарь. — Подойдёт. Убивает заразу не хуже святой воды. Вернее, даже лучше. Святая вода убивает веру в заразу, а моча убивает саму заразу. Я проверял.

Он отвернулся, чтобы расстегнуть штаны, но Изабель остановила его жестом.

— Я сама.

Она опустилась на колени рядом со мной. Я лежал на сырой земле, прислонившись спиной к стволу дерева — кажется, дуба; его кора впивалась в позвонки через тонкую рубашу. Мои руки дрожали. Молот, который я сжимал ещё час назад, валялся в двух шагах — тяжёлый, окровавленный, с прилипшими к рукояти волосами демона. Волосы были чёрные, жёсткие, как щетина дикого вепря. Леди Изабель сняла перчатку. Её пальцы — тонкие, бледные, с золотыми чешуйками на тыльной стороне (я заметил это только сейчас, и меня передёрнуло) — взяли мою голову и осторожно приподняли.

— Не дёргайся, — сказала она.

И она плюнула мне в лицо. Это было так неожиданно, что

я забыл про боль. Слюна леди Империи, вдовы самого короля, смешалась с запёкшейся кровью демона на моём лице. Она тёрла мои губы большим пальцем — грубо, не церемонясь, как крестьянка трёт грязное пятно на рубахе. Её ноготь — обломанный, с чёрной каёмкой — царапал корку, отдирая её пластами. Было больно, но я терпел. Потому что боль была живой, а до этого я чувствовал только онемение.

— Однажды, — сказала она, не глядя мне в глаза, сосредоточившись на своём занятии, — однажды мой муж учил меня, что чистота — это не отсутствие грязи. Чистота — это отсутствие лжи. Слюна не лжёт. Слюна — это тело. А тело никогда не врёт.

Она отстранилась. Я почувствовал, что губы снова стали мягкими. Осторожно приоткрыл рот.

— Спасибо, миледи, — прошептал я. Голос был хриплым, как у старого пса, который перестал лаять, потому что понял — бесполезно.

— Не благодари. — Она поднялась, и я заметил, как сильно дрожат её колени. Изабель устала. Не просто устала — она была пустой. Как выжатый лимон. Как угли, которые отдали весь жар и теперь лежат серыми, мёртвыми комочками. — Ты спас мне жизнь, кузнец. Я всего лишь отмыла твою рожу. Мы не в расчёте.

Я хотел сказать, что мы никогда не будем в расчёте, потому что леди не должна была пачкать пальцы о лицо крестьянина. Но не сказал. Потому что понял: если я это скажу,

она обидится. А обиженная леди Изабель — это страшное зрелище.

Я видел её обиженной всего раз — час назад, когда инквизитор Бернар уходил из лагеря.

«Вы пожалеете, миледи, — сказал он тогда, седлая своего коня. Белый конь, белый плащ, серебряная маска на лице. Я заметил, что маска не блестит, а впитывает свет — как лужа масла на дороге. Я не видел его лица — только глаза. Глаза цвета старого льда. — Этот человек (он ткнул пальцем в меня; его палец был в перчатке, но мне показалось, что он обжигает) — порождение Хаоса. Он убил демона. Не молитвой. Не святым оружием. Просто... железом. Знаете, что это значит? Это значит, что он заключил сделку. С Бездной. Или ещё хуже — с самим собой.»

Изабель тогда стояла на пригорке, скрестив руки на груди. Её меч — тот самый, светящийся, которым она разрубила демона пополам — был всё ещё в ножнах, но я видел, как её пальцы поглаживали рукоять.

— Бернар, — сказала она тихо, — этот человек спас мне жизнь. Он закрыл меня от копья. Своим телом. Разве демон так поступает?

— Демоны хитры, — усмехнулся инквизитор (я понял, что он улыбнулся, потому что серебряная маска дрогнула). — Они могут ждать годами. Даже десятилетиями. Внедриться в доверие. А потом — удар в спину. Самый сладкий удар.

— Убирайся, — сказала Изабель. Её голос стал железным.

Не громким — железным. Такое бывает только у тех, кто привык отдавать приказы, зная, что их исполняют. — Убирайся, Бернар. И заberi своих псов.

Инквизитор поклонился. Насмешливо. Слишком низко для человека его ранга.

— Как прикажете, миледи. Но запомните мои слова. Когда этот кузнец вонзит вам нож в спину — вспомните меня. Я буду в столице. Я буду молиться. За вашу душу.

Он уехал. За ним — три рыцаря в серебряных масках и шесть слуг с заклёпаннми ртами (я слышал о таких — еретикам вырывают язык, а потом заковывают рот в железо, чтобы они не могли даже мычать). И двадцать солдат. Хороших солдат. Опытных.

Армия Изабель уменьшилась на треть, даже не сделав ни одного шага к победе.

Никто не произнёс это вслух, но я видел, как рыцари переглядываются. Как один из них — молодой, с рыжей бородой — сплюнул на землю и сказал под нос: «крысы». Как другой — пожилой, со шрамом на щеке — перекрестился неправильной рукой. Лагерь стал тише. Не спокойнее — тише. Как дом, из которого вынесли покойника.

— Расскажи мне о себе, кузнец.

Мы сидели у костра. Ночь была холодной — слишком холодной для конца лета. Я подозревал, что это демоны испортили погоду. Говорят, там, где проходят рогатые, воздух становится кислым, а звёзды меркнут.

— Нечего рассказывать, миледи.

— Врёшь. — Она протянула мне кусок хлеба с салом. Я взял. Есть не хотелось, но я знал: если не поем, то завтра не смогу держать молот. А завтра... завтра, наверное, снова придётся драться. — Врут те, у кого есть тайна. А у тебя есть тайна. Я вижу.

— Моя тайна, миледи, в том, что мой отец ушёл в столицу и не вернулся. А брата убили демоны на южных рубежах. Вот и всё.

— Не всё. — Она вдруг наклонилась ко мне. Её глаза — серые, как зимнее небо — вонзились в мои. Я почувствовал себя булавкой, которую пытаются распрямить. — Ты убил демона. Не обученный воин. Не паладин. Даже не солдат. Ты убил тварь, которая прошивала доспехи рыцарей как бумагу. Как?

Я молчал. Потому что сам не знал ответа.

— Я... я просто ударил, — сказал я наконец. — Он стоял ко мне спиной. У меня была кочерга. Она была горячей. Я ткнул ему в глаз. И всё.

— И всё, — повторила Изабель. Её губы дрогнули. Она хотела сказать что-то ещё, но в этот момент к костру подошёл тот самый изуродованный рыцарь — сэр Альберих, как я понял, потому что другой рыцарь окликнул его по имени.

— Миледи, — сказал он, — дозорные вернулись. На севере — дым. Много дыма. Горит деревня Лисьи Норы.

Изабель закрыла глаза. Всего на секунду. Потом открыла

— и я увидел, как в серой зимней пустоте её взгляда зажглась маленькая, злая искра.

— Гномы, — сказала она. — До гномов осталось два дня пути. Если демоны сожгут Лисьи Норы, они перекроют дорогу к Торгалю. Нам нужно успеть.

Она встала. Посмотрела на меня.

— Ты идёшь, кузнец. Ты теперь в моей армии. Будешь чинить оружие. Если сможешь — будешь драться. Если нет — будешь чинить. Я не бросаю тех, кто закрыл меня от копья.

— У меня нет выбора, миледи? — спросил я. Не потому, что хотел уйти. А потому, что хотел понять: она спрашивает или приказывает.

Изабель улыбнулась. Впервые за всё время. Улыбка была горькой, как полынь, и быстрой, как удар кинжала.

— Выбор есть всегда, кузнец. Ты можешь умереть здесь, от ран, которые не успел промыть мочой. Или можешь умереть в горах, от демонского клинка. Или можешь выжить и стать... — она запнулась, — стать кем-то.

Она не договорила. Отвернулась и пошла к своему шатру.

Я остался сидеть у костра. Смотрел, как рыцари собирают лагерь, как седлают лошадей, как проверяют доспехи. Среди них я был чужаком. Крестьянин в грязной рубахе, с кузнечным молотом в руке.

Но я почему-то вспомнил бабушкины слова. Она любила говорить перед сном, когда я был маленьким:

«Боги смотрят на мир и смеются, Михель. Потому что

мир смешон. Крестьянин хочет стать рыцарем. Рыцарь хочет стать королём. Король хочет стать богом. А бог хочет сдохнуть, потому что ему надоело смотреть на это всё. Но никто ничего не получает. Получают только те, кто вообще ничего не хочет. Кто просто... делает. Стучит молотом по наковальне. И ждёт. Ждёт, когда сталь покорится».

Я взял свой молот. Он был тяжёлым. Гораздо тяжелее, чем я помнил. Я пошёл за Изабель.

Лисьи Норы горели так, как будто сам Ургаш — безумный дракон, из чьих осколков родились демоны — решил устроить себе пир на костях. Я видел пожары и раньше. Когда в деревне соседа загорелся амбар. Когда на мельницу ударила молния. Но этот огонь был живым. Он не просто пожирал дома — он танцевал. Пламя изгибалось дугами, складывалось в фигуры, которых не могло быть. Иногда мне казалось, что я вижу в огне лица. Искажённые. Кричащие. Одно лицо — женщины — смотрело прямо на меня, и его рот открывался и закрывался, как у рыбы, выброшенной на берег. Через несколько мгновений оно рассыпалось в искры. Воздух пах жжёной шерстью, сахаром (почему сахаром? я так и не понял) и чем-то сладковато-гнилостным — тем запахом, которым пахнет мясо, если его оставить на солнце.

— Не смотри, — сказал сэр Альберих, положив мне руку на плечо (у него была странная рука — слишком горячая, слишком тяжёлая, как будто под кожей у него был не мускул, а расплавленный свинец). — В огне демонов нельзя смот-

реть. Он смотрит в ответ.

Я отвернулся. Мы стояли на холме в полумиле от деревни. Изабель собрала всех, кто мог держать оружие — восемнадцать рыцарей, двадцать три пехотинца (из которых семеро были ранены), трёх эльфов-следопытов, которые нанялись к ней ещё в Лесном Союзе и теперь хмуро смотрели в сторону пожара, и меня. Один кузнец с молотом.

— Их там мало, — сказала эльфийка. Её звали... я не запомнил. У неё были длинные белые волосы и глаза без зрачков, как у всех лесных эльфов. — Я вижу только пять демонов. Может быть, шесть. Остальные ушли вперёд.

— Почему они жгут деревню, если уже ушли? — спросил кто-то из рыцарей.

— Потому что они хотят, чтобы мы отвлеклись, — ответила Изабель. Её голос был спокойным. Слишком спокойным. Я начинал узнавать этот тон — тон, которым она говорила перед тем, как сделать что-то опасное. — Это ловушка. Демоны знают, что мы идём к гномам. Они хотят задержать нас.

— И что мы будем делать, миледи? — спросил сэр Альберих.

Изабель обвела взглядом наши жалкие силы. Я видел, что она считает. Восемнадцать. Двадцать три. Три. Один.

— Мы ударим, — сказала она. — Не потому, что должны. Потому что в той деревне люди. Я слышу их крики.

Я тоже слышал.

Но я также слышал другой звук. Тот, который эльфы не заметили. Тот, который рыцари не услышали за звоном своих доспехов.

Под криками людей был шёпот.

Много голосов. Шелестящих, сухих, похожих на шуршание крыльев мёртвых бабочек. Я слышал этот шёпот однажды — в детстве, когда бабушка вела меня к знахарке. У знахарки в доме были вещи, которые не должны были шевелиться. И они шевелились. И шептали.

— Там не только демоны, — сказал я.

Все посмотрели на меня. Изабель — с любопытством. Рыцари — с презрением. Эльфы — с чем-то похожим на голод.

— Что ты слышишь, кузнец? — спросила эльфийка. Её голос был похож на треск льда.

— Шёпот. Мёртвых. Или... не знаю. Тех, кто не умер, но и не жив.

Эльфийка замерла. Её глаза без зрачков расширились.

— Некроманты, — прошептала она. — Там некроманты. Они пришли собрать павших. Но демоны их прогнали... или... или объединились с ними.

— Некроманты не объединяются, — сказал сэр Альберих. — Они ждут. Как стервятники.

Изабель посмотрела на меня. Долго. Внимательно.

— Ты слышишь то, чего не слышат другие, кузнец. — Это был не вопрос. — Мы пойдём в деревню. Ты — со мной. Остальные — в двух шагах позади.

— Миледи, это опасно! — воскликнул один из рыцарей. Молодой, красивый, с идеальным лицом. Я запомнил его — сэр Годфри (не тот летописец, другой). — Этот человек — крестьянин. Он не обучен. Он...

— Он слышит врага, которого вы не слышите, — перебила Изабель. — Этого достаточно. Мы идём.

Она шагнула вниз по склону. Я — за ней.

Земля под ногами была горячее. Я чувствовал жар даже сквозь подошву сапог — кожа скрипела и сжималась. В воздухе кружился пепел — серый, белый, иногда чёрный, с хрустом — и оседал на языке. На вкус он был как уголь из горна, в который плюнули. И в этот момент мир взорвался криком.

Я не буду рассказывать всю битву. Потому что битва — это не то, что можно рассказать словами. Битва — это куски. Обрывки. Вспышки боли, которые потом собираются в одно большое, тяжёлое воспоминание, которое не умещается в голове.

Я запомнил:

— Как Изабель разрубила демона пополам, и из половинок выползли маленькие, юркие твари с зубастыми ртами и разбежались во все стороны.

— Как эльфийка всадила стрелу в глаз некроманту, и некромант не упал, а растаял, оставив после себя кучку серого пепла и скелет мыши (откуда мышь в некроманте? я так и не понял).

— Как сэр Альберих заслонил меня от клинка демона, и

его изуродованное лицо исказилось ещё больше — на щеке открылась рана, из которой вместо крови текла какая-то серебряная жидкость.

— Как я ударил молотом по голове твари, которая держала в руках ребёнка. Ребёнок был живым. Я запомнил его глаза — чёрные, как Бездна, в них не было страха. Только удивление.

— Как потом я понял, что ребёнок мёртв уже три дня. Некроманты использовали его как приманку. Его тело держалось на магии, куклой на нитях. И когда я его освободил, он рассыпался в прах, прошептав: «Спасибо, дядя».

Детский голос был настоящим. Я запомнил его на всю жизнь — высокий, чуть сиплый, с деревенским говором, который я слышал в детстве у соседских мальчишек. Он прошептал «спасибо» так, как будто я закрыл ему дверь в тёплую избу. А потом прах ударил мне в лицо — горький, сухой, и я закашлялся, потому что это был прах того, кто уже не дышал три дня.

И — самое страшное.

Я запомнил, как в конце битвы, когда мы перебили почти всех демонов (их было не пять, не шесть — их было пятнадцать, и восемь некромантов в придачу), из огня вышли серебряные маски. Их было трое. Они не участвовали в битве. Они смотрели со стороны, скрестив руки на грудях. И когда последний демон упал, они вышли к Изабель. Инквизиторы. Те самые, что ушли с Бернаром.

— Миледи, — сказал тот, что шёл первым. Его голос был спокоен. Слишком спокоен. — Архиепископ Герхард передаёт вам привет. И просит вернуться в столицу. Немедленно.

— Я не вернусь, — ответила Изабель. Её меч был в крови. Её лицо — в копоти. — Пока Николай в плену — я не вернусь.

— Король Николай, — медленно произнёс инквизитор, — мёртв.

Тишина. Такая тишина, что я услышал, как догорает деревня. Как падает последняя стена. Как плачет где-то вдалеке живой ребёнок — настоящий, не кукла некромантов.

— Ты лжёшь, — сказала Изабель.

Но её голос дрогнул. Не так, как дрожит струна — громко и заметно. А так, как дрожит лёд на весенней реке: сначала внутри, потом трещина выходит наружу. Я стоял в двух шагах и видел, как побелели её костяшки на рукояти меча. Как дёрнулся кадык.

— Архиепископ видел его во сне. Король просил передать... — инквизитор замолчал, будто колебался. Потом договорил: — Король просил передать, что вы свободны. Что он отпускает вас от клятвы. Что вы можете... выйти замуж за другого.

Изабель сделала шаг назад.

И в этот момент я увидел, как она меняется. Чешуйки на её руках — золотые, почти незаметные — начали расти. Они покрыли пальцы, запястья, поползли выше к локтям. Её

глаза стали жёлтыми. Не серыми — жёлтыми, как у хищной птицы.

Синдром Подражания. Она теряла контроль. Гнев, страх, боль — всё это превращалось в магию Света, которая пожирала её изнутри.

— Убирайтесь, — прошипела она. Не человеческим голосом. Голосом, в котором слышался рёв дракона. — Убирайтесь, пока я не превратила вас в пепел.

Инквизиторы поклонились. И ушли. Изабель стояла на пепелище, покрываясь золотой чешуёй, и смотрела им вслед. Я стоял рядом и молчал. Что я мог сказать?

Что её муж, король Николай, возможно, действительно мёртв? Что архиепископ, скорее всего, лжёт? Что инквизиторы — просто псы, которые выполняют приказы? Я ничего не сказал. Я просто взял свой молот и начал забивать гвозди в обгоревшие доски единственного дома, который ещё можно было починить. Потому что когда не знаешь, что делать — делай то, что умеешь. А я умел только ковать.

ЛЕТОПИСЬ ОРДЕНА ГРИФОНА

(Фрагмент свитка CLXIV, дописанный спустя три дня после предыдущего)

Годфри, бывший летописец, сегодня пил неразбавленное вино и плакал. Не от жалости к себе — от жалости к тем, кто остался жив. Потому что мёртвым всё равно. А живым — нет.

«Вот что я понял, записывая историю падения Империи:

мы, летописцы, лжём чаще, чем инквизиторы.

Мы пишем: „Изабель, вдохновлённая небесами, повела войско на север“. Но правда в том, что она плакала всю ночь после того, как демоны сожгли Три Дуба. Мы пишем: „Рыцари Грифона пали как герои“. Но правда в том, что двое из них бежали, бросив оружие, и их нашли через три дня в канаве — замёрзшими, с пустыми глазами.

Я, Годфри, бывший летописец, ныне просто старик с большими пальцами, хочу записать правду. Ту, которую не скажет ни один историк.

Изабель не была святой. Она была женщиной, у которой убили мужа и украли корону. Она не вела за собой — её толкала вперёд боль. А рядом с ней шёл кузнец, который не умел молиться, но знал, как забить гвоздь так, чтобы он держал землю.

Вот правда. Остальное — легенды. А легенды пишут победители. Или те, кто выжил.

Сегодня они разбили лагерь в двух днях пути от гномьих гор. Ночью был разговор, который я запомнил на всю жизнь. Не потому, что я его слышал — я подслушал. Мне стыдно. Но правда требует стыда.

Изабель и кузнец говорили о вере. О том, можно ли быть паладином без молитвы. О том, почему драконы молчат, когда их дети умирают.

И кузнец сказал то, что не сказал бы ни один священник. Он сказал: а может, драконы просто заняты? Может, они ку-

ют что-то большое, а мы — искры, которые летят в стороны?

Изабель тогда засмеялась. В первый раз за много дней. И я понял: этот смех — тоже оружие. Возможно, главное.

Записываю это углём на обрывке карты. Если выживу — перепишу красивым почерком. Если нет — пусть останется как есть. Грязь и правда».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: КРОВЬ И ВИНО

(Шесть дней после вторжения. Лагерь у подножия Железных гор.)

Мы шли на север, и я не знал, сколько дней прошло с тех пор, как моя деревня превратилась в пепел, — время растянулось, как старая подкова: сначала кажется, что её можно согнуть пальцами, потом понимаешь, что металл уже остыл, и ты просто стучишь по нему молотом без всякой надежды изменить форму, но всё равно стучишь, потому что если перестанешь — станешь частью той самой неподвижной, мёртвой тишины, которая остаётся после демонов. Я стучал. Каждое утро я просыпался от того, что мои руки горели, но не от ран — раны затянулись, потому что сэр Альберих, тот изуродованный рыцарь с провалом вместо носа и глазами, смотрящими в разные стороны, дал мне какую-то мазь, от которой кожа слезала лоскутами, как берёста с сырого ствола, а потом отрастала заново — грубая, жёсткая, покрытая пятнами застарелых мозолей, словно я провёл в кузнице не двадцать лет, а все пятьдесят. «Крестьянские руки», — сказал он, осматривая мои ладони при свете костра, и в его вы-

вернутом глазу мелькнуло что-то похожее на одобрение. «Ты никогда не держал меча, да?» — «Я держал молот», — ответил я, и он хмыкнул — его изуродованный рот скривился тогда в подобие улыбки, обнажив жёлтые, сточенные зубы. «Это не меч», — сказал он. «А демону всё равно, — ответил я. — Демон не спрашивает, чем его убивают. Демон просто умирает». Сэр Альберих тогда хмыкнул снова — дольше, глубже, будто пробуя этот звук на вкус. «Ты мне нравишься, кузнец, — сказал он, и его голос звучал как скрежет ржавого клинка, вытаскиваемого из ножен. — Ты говоришь глупости, но говоришь их так, будто это истина. Это редкий дар. Тебе бы в священники — там таких любят». Я не понял, обидел он меня или похвалил, но с тех пор он иногда давал мне советы: как держать оружие, чтобы не выбило плечо; как дышать перед ударом, чтобы лёгкие не наполнились кровью; как падать на землю, сгруппировавшись, чтобы не сломать рёбра, когда тебя сбивает с ног ударом хвоста или крыла. «Первое правило боя, — говорил он, и в его словах всегда сквозила усталость человека, который видел слишком много боёв и слишком мало побед, — не убей врага. Первое правило — не умри сам. Звучит глупо, правда? Звучит как трусость. Но ты посмотри на этих молодых рыцарей, — он кивком указал в сторону сияющих доспехов, которые мерцали у костра, — они лезут в самую гущу, потому что им надо доказать, какие они храбрые. А через минуту они лежат с пробитым горлом, захлёбываются собственной кровью и доказывают только то,

что храбрость — это самый быстрый способ стать мёртвым. А мёртвым плевать на храбрость». — «А что доказываешь ты?» — спросил я, и он посмотрел на меня своим вывернутым глазом — долго, так пристально, что я почувствовал, как по спине ползёт холодный пот, будто он не просто смотрел, а заглядывал в мою душу, перебирая там каждую мысль, как торговец перебирает на рынке гнилые яблоки. Потом он отвернулся и сказал очень тихо: «Я ничего не доказываю. Я просто жду, когда всё кончится». Я не стал спрашивать, что именно он имеет в виду — войну, жизнь или что-то третье, потому что в его голосе вдруг почувствовалась такая глубокая, червивая пустота, что мне захотелось перекреститься, хотя я никогда не верил в богов, которых носят на шее в серебряных футлярах.

В тот вечер мы разбили лагерь у подножия Железных гор, и я впервые видел горы так близко — в детстве бабушка говорила, что за горами живут гномы, маленькие коренастые люди с бородами до пояса и руками, покрытыми такой толстой кожей, что они могут брать голыми пальцами раскалённое железо; она говорила, что гномы куют звёзды, подвешивая их на небо на тонких серебряных нитях, и если долго смотреть на звёзды, можно увидеть, как они покачиваются. Я не верил, конечно — даже в детстве я знал, что звёзды это дырки в небе, через которые драконы дышат огнём, потому что кто же ещё может выжечь дыры в небесной тверди, если не драконы. Но горы были настоящими — они уходи-

ли в небо острыми зубьями, похожими на рваную рану, затянутую серой коркой камня, и их вершины серебрились в лунном свете так, как серебрится старое, недешёвое серебро, которым торгуют на рыночной площади раз в году купцы из южных городов, и всегда обвешивают крестьян, потому что крестьяне не умеют проверять пробу. Воздух у гор был другим — не таким, как в лесах или в долинах: он пах железом, древней пылью и чем-то сладковато-горьким, напоминающим запах старой крови, впитавшейся в песок на месте давней битвы, и этот запах щипал ноздри, заставлял чихать и одновременно сжимать рукоять молота крепче, потому что в таком воздухе всегда прячется что-то опасное — как в тихом омуте, где вода кажется спокойной, но на дне лежат кости утонувших.

«До Торгаля два дня пути», — сказала Изабель, когда мы собрались у костра, и её голос звучал негромко, но так, что его слышали все — от рыцарей, сидящих на бревне, до солдат, которые возились с похлёбкой у дальнего костерка; она стояла у огня, и её плащ, серый, походный, без всяких украшений, колыбался на ветру как знамя — не то чтобы она хотела казаться выше или важнее, просто она не умела быть другой. «Я послала вперёд гонца с тремя рыцарями, — продолжала она. — Гномы знают, что мы идём. Вопрос в том, захотят ли они нас принять». — «Они нас примут?» — спросил один из солдат — совсем молодой парень, лет семнадцати, с рыжим пушком на подбородке, который он всё время

трогал, будто проверяя, не пробилась ли уже настоящая щетина; я запомнил его, потому что он всё время вертел в руках старый амулет — потёртую медную монету с дырочкой посередине, которую он, наверное, носил на шее с детства. — «Гномы ведь... они не любят людей». Его голос дрожал, и я понял, что он боится — не гномов даже, а того, что за горами, потому что слухи о подземных чертях, о каменных големах и о ловушках, которые гномы ставят на незваных гостей, ходили среди крестьян хуже, чем слухи о демонах. «Гномы не любят никого, — ответила Изабель, и в её голосе прозвучала жёсткая, тяжёлая усмешка, которую я уже начинал узнавать, — ни людей, ни эльфов, ни драконов, ни даже самих себя. Но они любят золото. А у меня есть золото». Она похлопала по седельной сумке — кожаной, тугой, прошитой двойным швом, — и сумка глухо звякнула, как звенит мешок с настоящими деньгами, а не с медными грошами, которые мы, деревенские, прятали в печи от сборщиков налогов. «И кое-что получше», — добавила она, и все замолчали, потому что её голос стал вдруг другим — в нём появилось что-то похожее на благоговение, которое священники вкладывают в слова о святых мощах, когда достают их из ларцов для особо щедрых прихожан. «Что же это?» — спросил я, и она посмотрела на меня — в упор, так пристально, что я почувствовал тяжесть её взгляда, как если бы мне на плечи положили мешок угля. Её лицо в свете костра казалось вырезанным из старой кости — жёсткое, выбеленное временем и бессонни-

цей, с глубокими тенями под глазами, похожими на трещины на древнем изваянии, и в этих тенях пряталась такая усталость, что мне вдруг захотелось сказать ей: «Ложитесь спать, миледи, всё остальное подождёт». Но я промолчал, потому что знал: она всё равно не ляжет. «Артефакт, — сказала она, и вокруг костра стало так тихо, что я услышал, как падает в золу уголёк, сорвавшись с головешки. — Слеза Дракона. Гномы помогут нам в обмен на право его изучить — они клялись, что не станут его копировать, только посмотрят, пощупают, может быть, нагреют и остужат, чтобы понять сплав». — «Слеза Дракона», — прошептал сэр Альберих, и я заметил, как его изуродованные пальцы, покрытые сеткой старых шрамов, медленно — почти благоговейно — сложились для крестного знамения; он перекрестился, и его пальцы дрожали — не от холода, от чего-то другого, от чего-то похожего на страх перед тем, что свято настолько, что даже касаться его кощунственно. «Миледи, это же...» — начал он, но она перебила его жестом — резким, рубящим, как удар меча. «Я знаю, что это такое, — сказала она. — Это единственное, что может закрыть разлом в Бездну. Но гномам не нужно знать, зачем она нужна на самом деле. Им нужно знать, из чего она сделана — сплав, который не встречается в природе, металл, который помнит драконью кровь. Может быть, формула вечного клинка. Они отдадут за это всё, что у них есть — золото, оружие, големов, даже своих дочерей, если попросить». — «Кроме чести, — усмехнулся сэр Альберих, и его усмешка

была похожа на оскал. — Честь гномы не продают. У них её нет». И все замолчали снова, потому что каждый знал: честь есть у всех, кто её заслужил, а гномы заслужили её кровью на Железных тропах, когда держали оборону против демонов три месяца без подмоги. Костер трещал, роняя искры в бархатное небо; где-то в горах ухал филин — или не филин, потому что в этих местах водились твари, которых я не знал и предпочитал не узнавать, — и этот звук, глубокий, грудной, напоминал стон раненого зверя.

Изабель вдруг встала — резко, даже слишком резко, будто тело перестало её слушаться, а она заставляла его подчиниться силой воли. «Михель, — сказала она, глядя прямо на меня, и в её взгляде не было вопроса — да, это был приказ, но в этом приказе сквозила такая тихая, непривычная для неё просьба, что я почувствовал, как что-то сжимается у меня в груди. — Пойдём. Нужно поговорить». Она не спросила, хочу ли я; она не стала объяснять, зачем; она просто развернулась и пошла прочь от костра — не быстро, не медленно, а так, как ходят люди, которые привыкли, что за ними следуют. Я встал и пошёл, чувствуя на спине взгляды солдат — любопытные, насмешливые, завистливые, — и рыжий парень с монеткой что-то шепнул своему соседу, отчего оба захихикали, но я не обернулся, потому что знал: если я обернусь, мне придётся сделать вид, что я не слышал, а врать я не умел.

Мы отошли от лагеря на сотню шагов, к маленькому ру-

чью, который сбегал с гор тонкой серебряной нитью, и здесь, вдали от костров, ночь стала другой — она стала плотной, осязаемой, как старое одеяло, которым накрываешься в зимнюю стужу, и в этой темноте прятались все звуки, которые мы не слышали в лагере: шорох камешков под ногами, далёкий треск льда на вершинах, шепот воды, перебирающей гальку, и ещё что-то — слабое, едва уловимое, похожее на дыхание спящего великана. Вода здесь пахла железом — настоящим, живым, горным железом, которое ещё не тронула рука кузнеца, которое лежало в глубине скал сотни лет, накапливая силу земли, и этот запах ударил в ноздри так сильно, что у меня закружилась голова, будто я выпил кружку крепкого вина. Я опустил пальцы в ручей и почувствовал, как холод обжигает — не ледяной, нет, а какой-то острый, режущий, как лезвие ножа, и из этого холода в мои пальцы вошла дрожь, которая поднялась до локтя, до плеча, до самого позвоночника.

Изабель стояла у воды, не оборачиваясь. Луна светила ей в спину, и её силуэт казался вырезанным из черной бумаги — хрупким, почти призрачным, и мне вдруг подумалось, что если я сейчас протяну руку, я могу проткнуть её насквозь, как протыкают паутину, и она исчезнет, оставив только пустоту. «Ты знаешь, кто я?» — спросила она, и её голос был тихим, очень тихим, и в этой тишине не было приказа — была усталость, такая глубокая, что я почувствовал её в своих костях, в своих суставах, в своём дыхании, будто я нёс её

усталость вместе с ней. «Леди Изабель, — ответил я, и мой голос прозвучал глупо и грубо, как молот, упавший на голый камень. — Вдова короля Николая. Регентша Империи Грифона». Я перечислял титулы, как учила меня бабушка, потому что она всегда говорила: «Если встретишь знатного человека, назови все его звания, иначе он обидится, а обиженный знатный человек хуже голодного пса — он будет грызть, пока не доберётся до костей». «Это не ответ, — сказала Изабель, и она повернулась ко мне — медленно, очень медленно, будто каждое движение давалось ей с трудом. — Титулы — это маски. Я спрашиваю: знаешь ли ты, кто я такая? Не кем меня называли при рождении. Не за кого я вышла замуж. А кто я есть на самом деле». Я задумался — не потому, что не знал ответа, а потому, что боялся сказать неправильно, но потом понял, что правильных слов, наверное, не существует, и сказал то, что думал: «Вы та, кто не бросил меня умирать на той проклятой дороге у Трёх Дубов. Вы та, кто плюнула мне в лицо, чтобы я снова мог говорить, и не побрезговала прикоснуться к грязному крестьянину. Вы та, кто...» — я запнулся, подбирая слово, и нашёл его, когда посмотрел в её глаза — чёрные в этом свете, бездонные, как колодец, в который упал камень и всё не слышно всплеска, — «кто не врёт». Она резко обернулась ко мне всем телом — рывком, будто что-то внутри неё сломалось и снова срослось, — и в лунном свете её глаза были не серыми, не жёлтыми, а именно чёрными — пустыми, как выжженное поле. «Не вру? —

переспросила она, и в её голосе прозвучала горькая, колючая усмешка. — Ты уверен, кузнец? Абсолютно уверен? Слеза Дракона, например, — это не слеза и не дракона. Это сплав, который выковали эльфы тысячу лет назад, чтобы убивать демонов. Я солгала. Прямо сейчас. При всех. Ты считаешь это правдой?» Я посмотрел на неё, на её тонкие пальцы, сжимающие подол платья так, что побелели суставы, на её дрожащие губы, и сказал то, что чувствовал: «Я не знаю, миледи, что правда, а что ложь. Я кузнец, а не летописец. Но вы не врётё мне. А остальное... остальное не важно». Она долго смотрела на меня — так долго, что мне показалось, будто прошла целая жизнь, целая война, целая эпоха, — потом села на большой плоский камень у ручья, положила руки на колени и похлопала рядом. «Садись, — сказала она, и её голос стал обычным — усталым, но живым. — Это будет долгий разговор. И, может быть, единственный, который у нас когда-либо получится». Я сел.

«Моего мужа звали Николай, — начала она, глядя в воду, которая бежала у её ног, переливаясь лунным серебром. Её голос звучал ровно, будто она читала старый свиток, написанный чужим, давно умершим человеком, и в этой ровности не было ни боли, ни надежды — была только пустота. — Он был хорошим человеком. Добрым. Может быть, слишком добрым для короля — он прощал врагов, отпускал заговорщиков, не казнил даже тех, кто пытался его отравить. Он говорил: „Смерть не исправляет ошибки, она только умножает

их“. И когда демоны ворвались в столицу, прорвав оборону на южных рубежах, он не спрятался в замке — он вывел армию навстречу. Не потому, что был храбрым, нет — он боялся смерти больше, чем любой из его солдат. А потому, что не мог смотреть, как горят дома. Он говорил: „Смотреть на пожар и не тушить — это значит поджигать самому“. И он пошёл». Она замолчала — ненадолго, но в этой паузе прозвучало столько, сколько не прозвучало бы в целой речи: страх, горе, злость, что-то ещё, очень тёмное и липкое, похожее на отчаяние, которое она носила в себе так долго, что оно стало частью её плоти. «Его взяли в плен, — продолжила она. — Я не знаю, жив ли он. Инквизиторы говорят, что мёртв — они принесли мне его перстень, с печаткой, и платок, пропитанный кровью, такой кровью, которую нельзя подделать. Архиепископ Герхард говорит, что видел его во сне — Николай стоял на поляне, весь в белом, и улыбался. Но архиепископу я не верю, потому что... — она сжала губы так сильно, что они побелели, и я увидел, как на щеке дёрнулся нерв, — он хочет, чтобы я вышла замуж за его племянника. Молодого, красивого, глупого. Чтобы Империя перешла под контроль церкви. Чтобы трон стал просто украшением, а все решения принимались в соборе. — Она выдохнула, и этот выдох был похож на стон. — А я не хочу». — «Вы не хотите выходить замуж?» — спросил я, и она покачала головой. «Я хочу, чтобы Николай вернулся. Я хочу, чтобы он снова сидел у этого ручья и говорил глупости о том, как красиво течёт вода.

Но даже если он мёртв... если они убили его, пытали, сожгли или бросили в Бездну... я не выйду замуж за человека, которого выбрал архиепископ. Я скорее стану демоном — настоящим, рогатым, с крыльями и хвостом, — чем позволю этим лицемерам в золотых рясах править моей страной». Я не знал, что ответить — я жил в деревне, и там мы не говорили о политике; мы говорили о дожде, о том, хватит ли сена до весны, и о том, какой кузнец лучше чинит плуги — старый Эвальд, который уже начал глохнуть, или его сын, который берёт вдвое дороже. Слова «архиепископ» и «регентша» для меня были такими же далёкими, как драконы или гномы, и такими же ненастоящими. Но я понимал боль — я понимал, что значит смотреть, как у тебя забирают то, что ты любишь, и не иметь силы это остановить. «Потерять того, кого любишь, — сказал я, глядя в воду, которая пахла железом, — это как если бы твою наковальню разбили на куски молотом — по самому шву, где она крепилась к колоде. Смотришь на эти обломки и думаешь: из этого уже ничего не выкуешь, потому что нет цельного куска, не на чем держать металл. Но потом ты берёшь самый большой осколок — тот, что с уцелевшим углом, — и начинаешь работать им как молотом. Не как наковальней. Как молотом. И бьёшь — не по железу, по врагу. Потому что враг не ждёт, пока ты соберёшь себя заново. Враг бьёт сейчас». Изабель подняла на меня глаза — и в них, в этих чёрных, бездонных глазах, вдруг появилось что-то живое: искра, слабый огонёк, который я видел только раз

— когда она разрубила демона пополам, и на её лице было не торжество, а облегчение. «Это ты сейчас о короле? — спросила она, и её голос дрожал — впервые за весь разговор. — Или о себе?» — «О вас, миледи», — ответил я. Она усмехнулась — горько, колюче, будто выплюнула виноградную косточку, которая застряла в горле. «Ты странный, кузнец, — сказала она. — Другие говорят мне: „Будьте сильной, миледи, ради Империи“. Или: „Верьте в Дракона, миледи, и он вас спасёт“. Или: „Смерть — это только начало новой жизни, миледи, зачем вы так убиваетесь?“ А ты говоришь: возьми кусок разбитой наковальни и работай им как молотом. Это... — она запнулась, — это самая странная молитва, которую я когда-либо слышала». — «Это не молитва, миледи, — ответил я. — Это просто жизнь кузнеца. Я не умею говорить красиво. Я умею ковать железо и видеть, когда металл готов уступить». — «Говори как есть, — сказала она, и вдруг её пальцы — холодные, с золотыми чешуйками под кожей — сжали мою руку; я почувствовал эти чешуйки: жёсткие, как наждак, и острые, будто под кожей у неё лежали не чешуйки, а мелкие осколки разбитого меча. — Говори как есть, Михель. Я хочу слышать правду, даже если она режет уши, даже если она выжигает глаза, даже если она заставляет меня захотеть тебя убить». Я посмотрел на неё — её усталое лицо, её золотые чешуйки, которые уже покрывали тыльную сторону ладоней, выползая из-под манжет, как золотая ржавчина, её тени под глазами — такие глубокие, будто кто-то про-

вёл по её лицу углём, а потом забыл стереть, — и понял, что врать ей нельзя и что красивые слова её оскорбят. «Правда, миледи, в том, что драконы не спасут нас, — сказал я, глядя прямо в её глаза, чёрные в этом лунном свете. — Я не видел ни одного дракона за всю свою жизнь — ни живого, ни мёртвого, ни нарисованного. Я видел только демонов — много демонов, больше, чем хотел бы видеть, и ни один демон не боится драконов, потому что демоны не верят в драконов. А ещё я видел людей, которые молятся демонам — да-да, не бесам, а именно демонам, они падают перед ними на колени и целуют их когтистые лапы, потому что боятся больше, чем Бездны. И я видел священников, которые продают святую воду за серебро, а святую землю — за золото, и при этом крестятся левой рукой, чтобы никто не заметил. А ещё я видел женщину — одну-единственную — которая плюнула мне в лицо, чтобы я снова мог говорить, и после этого я понял: не важно, во что ты веришь — в Дракона, в демонов, в гномов или в свою собственную правоту. Важно, что ты делаешь. А вы, миледи, делаете правильные вещи. Вы ведёте нас к гномам, потому что это может помочь победить. Вы несёте Слезу Дракона, рискуя своей честью и жизнью. Вы не бросили меня, хотя могли бы — кто бы заметил пропажу одного кузнеца? И поэтому я не знаю, кто вы на самом деле. Но я знаю, что вы делаете. И этого достаточно». — «Не важно, зачем я это делаю?» — переспросила она, и её голос стал тихим-тихим, почти шёпотом. «Не важно, — ответил

я. — Потому что если вы сейчас упадёте — прямо здесь, у этого ручья, — если сядете на камень, заплачете и скажете: „Всё, я больше не могу“, — никто не поднимет знамя. Никто из этих рыцарей, которые ждут у костра, не подойдёт и не скажет: „Я поведу вас дальше, миледи, отдохните“. Потому что они верят в вас, а не в себя. А без знамени люди разбегутся кто куда — одни в столицу, другие в леса, третьи — к демонам на поклон. И тогда Бездна сожрёт всё — не только Империю, но и горы, и леса, и даже этот ручей, который пахнет железом. А после того как Бездна сожрёт всех — кто вспомнит, во что вы верили, зачем вы это делали и как вас звали? Никто. Даже драконы, если они существуют, забудут. Останется только пустота». Изабель молчала так долго, что я уже начал бояться, не перегнул ли я, не обидел ли её, не сказал ли что-то такое, после чего меня выгонят из лагеря — или того хуже, отдадут инквизиторам, которые ждали только случая. Ручей журчал, перебирая гальку, как старуха перебирает чётки; где-то в горах завыл ветер — или волк, или то, что хуже волка, но я старался не вслушиваться, потому что в этих звуках всегда слышалось что-то нечеловеческое. Потом она подняла голову, и в её глазах — нет, не чёрных теперь, а серых, как зимнее небо перед снегопадом, — зажглась маленькая, но очень яркая искра. «Ты опасный человек, Михель, — сказала она, и в её голосе не было страха — было удивление, как у человека, который неожиданно нашёл то, что давно потерял. — Очень опасный. Ты говоришь как

еретик — если бы тебя услышал хоть один инквизитор, тебя бы сожгли на костре, даже не пытая. Но если еретик прав... — она запнулась, сжала губы, и её пальцы — те, что не касались меня, — вдруг мелко-мелко затряслись, как листья на ветру. — Если еретик прав, то вся наша вера — всё, что мы строили тысячу лет, — просто кусок угля, который тлеет в темноте, пока его не задует свежим ветром. А когда ветер дует, уголь либо разгорается, либо гаснет навсегда. Так что же тогда?» Я посмотрел на тлеющие угли костра, которые были видны отсюда, от ручья, маленькими оранжевыми точками, похожими на глаза ночных зверей, и сказал: «Вера и есть уголь, миледи. Нужно просто вовремя подуть. Не молиться. Не кланяться. Не платить серебром за святую воду. А просто — подуть. Сделать что-то. Ударить молотом. Пойти в бой. Плюнуть в лицо раненому, чтобы он мог говорить. И тогда уголь разгорится. Сам. Без священников. Без драконов. Без чудес». Она засмеялась — и этот смех был таким неожиданным, таким чужим для её усталого, измождённого лица, что я вздрогнул, будто услышал треск ломающегося льда. Она смеялась негромко, сдавленно, будто смех вырывался против её воли, как вода сквозь плотину, и в этом смехе было что-то похожее на облегчение — такое же, какое чувствуешь, когда после долгой работы наконец выпрямляешь спину и слышишь, как хрустят позвонки. «Ты, кузнец, — сказала она, вытирая глаза — она не плакала, нет, просто смех выжал из них влагу, — когда всё это кончится,

когда демоны уберутся обратно в свою Бездну или мы все умрём, пытаясь их туда загнать, я сделаю тебя паладином. Не по указу церкви — церковь меня ненавидит и проклянёт всё, что я сделаю. А по своему указу. По указу вдовы короля. По указу женщины, которая плюнула тебе в лицо». — «Я не умею молиться, миледи», — ответил я, и она покачала головой. «А я не умею проигрывать, — сказала она, вставая и отряхивая своё простое дорожное платье, серое, без единого украшения, — и знаешь что, кузнец? Ничему не бывает поздно. Даже учиться молиться. Даже учиться верить. Даже учиться быть человеком». И она пошла к лагерю, и я смотрел ей вслед, её хрупкую спину, её усталую походку, её распущенные волосы, которые ветер раздувал, как знамя, и думал: «Вот так ходят люди, которые несут на плечах целый мир».

Я остался сидеть у ручья один, глядя в воду, которая пахла железом — древним, горным, нерождённым железом, — и в этом запахе мне почудился запах моего горна, моей кузницы, того места, где я был не крестьянином и не солдатом, а просто — собой. «Сделаю тебя паладином». Станные слова — ещё более странные, чем видения о брате, которые мучили меня по ночам, когда я закрывал глаза и видел его лицо, бледное, исхудавшее, с провалившимися щеками, и он шептал: «Михель, ты почему не пришёл? Я ждал». Паладин — это рыцарь. А рыцари — это благородные, это люди с гербами, с землями, с родословными, уходящими в глубь веков. А я — кузнец. Сын кузнеца. Внук кузнеца. Мой прадед тоже

ковал железо, и, говорят, он был настолько силен, что мог поднять наковальню одной рукой, хотя никто этому не верил. Но когда я сжимал в своей руке молот — тот самый, которым я забил демона, тяжёлый, с потрескавшейся рукояткой, в которой застряли чёрные волосы твари, — я почему-то верил, что она не шутит, что она говорила всерьёз, и от этого на душе становилось тепло, как от глотка крепкого вина в зимнюю стужу. Потом я встал и пошёл в лагерь, потому что сидеть у ручья дольше было нельзя — ноги затекли, да и холод поднимался от воды такой, что кости ныли, как перед снегопадом.

Вернувшись к костру, я лёг на свой плащ — старый, дырявый, но хоть какая-то защита от земли, — и увидел, что сэр Альберих уже спал, привалившись спиной к седлу; его изуродованное лицо в свете догорающих углей казалось маской — страшной, древней, вырезанной неизвестным скульптором, который хотел изобразить не человека, а его страдание. Рядом с ним двое солдат играли в кости — воровато, шёпотом, потому что Изабель запретила азартные игры, считая, что они разлагают дисциплину; они перебрасывали кости с ладони на ладонь, шептали какие-то заклинания, хотя никакие заклинания не помогали против случая. «Эй, кузнец, — позвал один из них — рыжий, веснушчатый, с южным, тягучим говором, который я слышал только у купцов, приезжавших на ярмарку. — Слышал, леди звала тебя говорить. Долго вы там. О чём? О погоде говорили? О видах на

урожай?» Я промолчал, потому что не знал, что можно говорить, а что нельзя, и решил, что лучше сказать ничего, чем сказать лишнее. «Не хочешь — не говори, — пожал плечами рыжий, и его веснушки в свете костра казались чёрными, как оспины. — Но смотри, парень. Ты теперь при леди. Это тебе не гвозди забивать, и не подковы править, и не лемехи чинить. Это другое». — «А что это?» — спросил я, хотя, наверное, не стоило спрашивать. «А это, — рыжий ухмыльнулся, обнажив щербатые зубы, жёлтые от дешёвого табака, — это нож под ребро. Каждую ночь. Каждый день. Каждый час. Потому что те, кто рядом с Изабель, долго не живут. Сначала её муж — царство ему небесное, — его взяли в плен демоны, и никто не знает, жив он или уже сгнил где-нибудь в Бездне. Потом её генералы — один пал в битве, другого убили заговорщики, третий... третий просто исчез, и никто не знает, куда и зачем. Теперь ты. Чувствуешь ритм, кузнец? Чувствуешь, как стучит барабан?» Он кинул кости — они звякнули о плоский камень, подпрыгнули, покатались, и выпало две шестёрки — лучшая комбинация, которая бывает только у жуликов и у мертвецов. «Счастливый день, — сказал рыжий, забирая выигрыш — несколько медных монет, которые он запихнул в карман штанов. — Наверное, завтра кто-то умрёт. Уж не мы, слава Дракону». Он засмеялся — сухо, коротко, будто кашлянул, — и засунул кости в карман, обернув их тряпицей, чтобы не звенели. Я закрыл глаза и попытался уснуть, но сон не шёл — перед глазами всё стояло

лицо Изабель, её чёрные глаза в лунном свете, её хрупкие пальцы, сжимающие подол платья, её тихий, усталый голос. Перед тем как забыться, я вспомнил бабушкины слова, которые она любила повторять, когда мы сидели на крыльце летним вечером и смотрели, как заходит солнце: «Знаешь, Мишель, самое страшное — это не смерть. Смерть — это просто дверь, которую рано или поздно откроют все. Самое страшное — это когда понимаешь, что жил не так. Что мог сделать больше, но поленился. Что мог сказать важные слова, но промолчал. Что мог простить, но сжал кулаки. Вот это страшно, внучек. Вот это действительно страшно. А смерть... смерть — это просто новая кузница. Только там уже не надо ничего ковать. Там можно отдыхать. Смотреть на угли и отдыхать». Я надеялся, что бабушка права. Но в глубине души, там, где живут те мысли, которые ты не говоришь вслух даже самому себе, я знал: отдыхать мне придётся не скоро. Если вообще придётся когда-нибудь отдыхать.

ЛЕТОПИСЬ ОРДЕНА ГРИФОНА

(Фрагмент свитка CLXV, нацарапанный на обороте старой карты углём, смешанным с жиром)

«Я, Годфри, бывший летописец, ныне просто человек с больными пальцами и мутными глазами, не знаю, читает ли кто-нибудь эти строки сейчас или прочитает через сотню лет, когда от Империи останутся только легенды и кости, но я пишу их, потому что дал себе слово — записывать правду каждый день, даже если правда — это просто дым и угли,

даже если правда горька, как полынь, даже если правда заставляет меня плакать по ночам в своём седле, когда никто не видит. Этой ночью кузнец и леди говорили о вере у ручья, который пахнет железом (я подошёл ближе, чем следовало, потому что летописец должен слышать всё, даже то, что не предназначено для его ушей, — это грех, но я давно уже коплю грехи, как золото, чтобы расплатиться ими на том свете за право написать правду). Он сказал ей, что вера — как уголь в кузнице: она тлеет сама по себе, но чтобы она разгорелась, нужно дуть — не молиться, не кланяться, а просто дуть. Делать. Идти. Биться. Он сказал, что священники продают святую воду за серебро и крестятся левой рукой — я не знаю, откуда крестьянину известно то, о чём догадываются только при дворце, но я видел этих священников, и он прав, Дракон свидетель, он прав. А она засмеялась — я слышал этот смех, он доносился от ручья, тихий, испуганный, словно первый смех ребёнка, который только учится радоваться. И я понял тогда: она поверила ему. Не в Дракона — в неё никто давно не верит, даже она сама. Не в Слезу — Слеза это просто кусок металла, красивый, опасный, но мёртвый. Она поверила в него — в этого грязного, неуклюжего кузнеца с молотом в руках и с бабушкиными сказками в голове. Это страшно — страшнее демонов, страшнее Бездны, страшнее самого дракона. Потому что люди, которые верят не в богов, а в людей — в живых, смертных, с грязными ногтями и запёкшейся кровью под рубахой — самые опасные из всех. Богов нель-

зю убить — боги бессмертны, они живут за гранью, где нет времени и боли. А человека можно убить — одним ударом копья, одной стрелой, одной каплей яда в вино. И когда ты убиваешь человека, в которого кто-то верил, ты убиваешь не тело — ты убиваешь веру. А с верой умирает всё: надежда, сила, желание идти вперёд, даже желание дышать. Я, старый летописец, выдавший шесть императоров и три войны, два моря и четыре голода, говорю вам, тем, кто прочитает эти строки: берегите таких людей — берегите их как зеницу ока, как последнюю каплю воды в пустыне. Или убивайте их сразу, как только поймёте, что полюбили. Потому что любовь к человеку и любовь к богу — это разные вещи, разные настолько, насколько различаются молот и меч; но обе сжигают города дотла — серым пеплом, который не смывает дождём. Завтра мы идём к гномам — в Торгаль, подземный город, где никогда не бывает солнца, где воздух пахнет серой и старой кровью. Говорят, у гномов есть огнестрельные пушки, которые стреляют железными ядрами на полмили; говорят, у них есть големы — каменные статуи, которые оживают и не чувствуют ни боли, ни страха, ни жалости. Но главное оружие гномов, я знаю это точно, — не пушки и не големы. Главное — это их обещания. Они умеют обещать так сладко, что даже святые верят, а берут плату вперёд — золотом, кровью, памятью. Молюсь сейчас — не знаю кому, не знаю зачем, — чтобы кузнец не заплатил слишком дорого. У него уже взяли дом — в его деревне одни угли. У него уже взяли брата —

убит демонами на юге. У него уже взяли отца — ушёл в столицу и сгинул, словно камень в болоте. Я боюсь, что гномы возьмут у него что-то ещё. Может быть, руки — те самые, грубые, покрытые мозолями, которые умеют держать молот. Может быть, сердце — то, что заставило его заслонить леди от копья своим телом. А может быть — то, что нельзя назвать, то, что живёт в каждом человеке глубоко-глубоко, как железная жила в горе. Записываю это углём на обрывке карты, потому что перо кончилось, а чернила замёрзли. Если я выживу — перепишу красивым почерком на пергаменте, с золотым обрезом и виньетками. Если нет — пусть эта грязная, корявая надпись останется как есть. Грязь и правда. Они всегда ходят рядом, как две сестры — одна в лохмотьях, другая в золоте, но лица у них одинаковые. Да благословит Дракон тех, кто это читает. Или простит. Я уже путаю, что лучше».

ИНТЕРЛЮДИЯ I: СЕРЕБРЯНЫЙ ШЁПОТ

(Серебряный город, дворец архиепископа. Семь дней после вторжения.)

Кабинет архиепископа Герхарда находился в самой высокой башне Серебряного города — там, где даже птицы летали ниже окон, потому что воздух на такой высоте был разрежённым и холодным, и только самые крупные из крылатых тварей, выкормленные демоническим мясом, могли подняться так высоко, чтобы заглянуть в стеклянные глаза башни. Говорили, что с этой высоты можно увидеть границы Им-

перии — все шесть её рубежей, от Вонючих болот на востоке до Трёх Дубов на западе, и даже дальше, туда, где начинаются земли, которых никто никогда не наносил на карты, потому что обратно оттуда не возвращались даже разведчики с осиными жалящими амулетами. Говорили, что сам Дракон Света когда-то сидел на этом подоконнике, свесив хвост вниз, и смотрел на творение своих лап — на города, реки, леса и людей, которые молились ему, не зная даже, как он выглядит на самом деле. Говорили многое — слишком многое, как всегда говорят о местах, куда простым людям входа нет. Но правда была проще и страшнее одновременно: отсюда было видно, как горит север — как полыхают деревни, как дым поднимается до небес, и даже облака становятся серыми от пепла, и даже дождь, если он идёт, падает на землю чёрным, маслянистым дождём, от которого на коже остаются ожоги.

Герхард стоял у окна, и его белые одежды казались светящимися в лунном свете — не потому, что ткань была особенной, а потому, что сам лунный свет, проходя через кабинет архиепископа, менял свою природу, становясь холодным, жёстким, почти режущим, как свет, который отражается от ледяной пустыни в самую долгую ночь года. Он не носил короны — только золотой обруч на лбу, такой тонкий, что невооружённым глазом его можно было принять за царапину на коже; этот обруч был символом того, что Герхард говорит не от себя, не от церкви и даже не от людей, а напря-

мую от Дракона Света, который, как утверждали священники, продолжал жить в измерении за гранью, питаясь верой миллионов. Его лицо было гладким, как полированный мрамор через три дня после полировки, и таким же белым — ни одной морщины, ни одной родинки, ни единого волоска, ни даже поры, будто его кожу выварили в святой воде, а потом растянули на деревянной форме и дали застыть на морозе. Говорили, что он продал свою человеческую кожу за бессмертие — что в полночь, когда часы в соборе бьют двенадцать раз, он снимает свою плоть, как плащ, и вешает её на спинку кресла, а сам становится чем-то другим, чем-то, у чего нет формы, но есть голод. Герхард не опровергал слухов — он считал, что слухи умножают власть, как многократно отражённое в медных зеркалах пламя кажется жарче, чем оно есть на самом деле, и если человек боится, что ты бессмертен, он будет подчиняться так, как не подчинился бы никакой золотой монете.

— Войдите, — сказал он, не оборачиваясь, и его голос прозвучал негромко, но в этой негромкости была такая уверенность, будто стены сами подчинялись его воле и сжимались, чтобы звук не ушёл наружу.

Дверь открылась — бесшумно, неслышно, потому что даже петли в этом кабинете боялись скрипеть без разрешения. Вошёл инквизитор Бернар — в своей серебряной маске, которая не блестела, а впитывала свет, как впитывает воду сухая глина; в белом плаще, под которым угадывалась кольчу-

га из такого мелкого плетения, что её нельзя было проткнуть даже копьём, заговорённым на крови мученика; с цепью из позвонков еретика на шее — он носил эту цепь как трофей, и каждый позвонок принадлежал человеку, которого Бернар лично отправил на костёр, вырезав ему язык ещё до того, как пламя коснулось пяток. Говорили, что цепь росла с каждым годом — что Бернар добавлял к ней новые кости так же регулярно, как другие люди добавляют звенья к чёткам, и что к концу его жизни цепь будет длиннее, чем он сам ростом.

— Ваше святейшество, — Бернар опустился на колено, и его левое колено хрустнуло — там был старый перелом, который так и не сросся правильно, но он никогда не опускался на правое колено, потому что правое принадлежало только Дракону. — Донесение с севера. Гонец пришёл час назад, ещё до того, как зажгли вечерние свечи. Он был без лошади — загнал её насмерть на последнем перегоне через Мёртвый лес, где даже демоны бродят с оглядкой. Сам он жив, но его лицо покрыто язвами — там, где он коснулся отравленной ветки. Я велел дать ему святой воды и отправить в лазарет.

— Говори, — приказал Герхард, и в его голосе не было сочувствия к гонцу — была лишь нетерпеливость кота, который знает, чтомышь уже в комнате, но ещё не решил, с какой стороны на неё прыгнуть.

— Изабель жива, — сказал Бернар, и он почувствовал, как его собственный голос становится тише — не потому, что он боялся, а потому, что в присутствии архиепископа даже

самые громкие звуки казались неуместными, словно крик в соборе во время тихой мессы. — Она идёт к гномам, в Торгаль, через Железные горы. С ней — остатки её армии. Около сорока человек, если считать всадников вместе с пехотой. В основном это пехотинцы — те, кто уцелел в битве у Трёх Дубов и в пожаре Лисьих Нор. Рыцарей среди них всего семеро, и двое из них ранены так, что держат мечи левой рукой. Ещё с ней три эльфа-следопыта — те самые, что нанялись к ней в Лесном Союзе, и один кузнец... — он запнулся, потому что называть кузнеца отдельной боевой единицей было смешно, но голос Герхарда подгонял его продолжить.

— А тот... кузнец? — Герхард повернулся от окна, и Бернар впервые увидел его лицо полностью — не в профиль, не в полумраке, а при свете лунного света, который лился прямо на архиепископа, делая его похожим на статую в заброшенном храме, которую завалило снегом и забыли. Его глаза были цвета расплавленного серебра — без зрачков, без радужки, просто два жидких металла, которые переливались, когда он двигал головой, и в этих глазах не было ни мысли, ни чувства, ни даже пустоты — была только абсолютная, всепожирающая воля, превращённая в форму. — Тот, кто убил демона кочергой? Тот, кого ты предлагал казнить на месте, чтобы не возиться с допросами и не тратить святую воду?

Бернар вздрогнул — не от страха, от неожиданности. Он не ожидал, что архиепископ запомнит имя простого кузнеца, потому что Герхард обычно запоминал только лица врагов и

имена союзников, а кузнец, убивший демона, не был ни тем, ни другим — он был кем-то третьим, кого в имперской канцелярии называли «случайность» и отправляли в архив, не давая даже номера дела. «Он с ней, ваше святейшество, — ответил Бернар, стараясь, чтобы его голос звучал ровно, хотя во рту пересохло, как в пустыне в полдень. — Я предлагал... я настаивал, чтобы его казнили, потому что он не обучен, не благороден, не приносил клятв и не прошёл обряда очищения. Но леди Изабель отказалась. Она сказала, что он спас ей жизнь и что она не бросает тех, кто закрыл её от копья своим телом. Своим грязным, некрещёным телом, ваше святейшество». — «Конечно, отказалась, — Герхард улыбнулся, и эта улыбка была страшнее любой угрозы, потому что она не трогала глаз — глаза оставались холодными, как Бездна в тот момент, когда она только начинает открываться, и из неё ещё не вышли демоны, но уже слышен их шёпот. — Ей нужны союзники. Любые союзники. Даже такие... необычные. Даже такие грязные. Война, Бернар, делает всех равными перед страхом. А страх, как известно, не смотрит на родословную».

Он прошёлся по комнате, и его шаги — лёгкие, почти невесомые — не издавали звука, потому что пол был выложен чёрным и белым камнем в шахматном порядке, а на ногах у архиепископа были мягкие кожаные туфли, подбитые войлоком, чтобы даже шорох не отвлекал его от мыслей. На каждом чёрном квадрате горела свеча — высокая, восковая,

с фитилём, плетёным из трёх нитей, которые никогда не коптели; на каждом белом квадрате лежал череп — человеческий, тщательно очищенный и отбеленный на солнце, с выгравированной на лбу датой смерти, чтобы никто не забывал, что эти люди когда-то дышали, молились, грешили и умерли по приказу церкви. Говорили, что в этой комнате лежат черепа всех, кого Герхард лично отправил на костёр, и что каждую ночь они шепчут — не жалуются, не проклинают, а именно шепчут, пересказывая друг другу свои грехи, чтобы архиепископ мог их переслушать и убедиться, что приговор был справедлив.

— Я хочу, чтобы ты вернулся на север, — сказал Герхард, останавливаясь у стола, на котором лежала карта — старая, пергаментная, с бурыми пятнами на месте, где, наверное, когда-то пролили вино или кровь, но теперь пятна были покрыты тонким слоем защитного воска, чтобы не расплзались дальше. — Возьми с собой два десятка лучших инквизиторов. Тех, кто не боится грязи. Тех, кто умеет ждать. Тех, кто не обратится в бегство, увидев демона, а пойдёт на него с молитвой на губах и с мечом в руке. И возьми пса.

— Пса, ваше святейшество? — переспросил Бернар, и в его голосе прозвучало удивление — искреннее, не притворное, потому что он знал, кого называли «псом» в канцелярии архиепископа, и это имя заставляло вздрагивать даже самых старых, самых прожжённых инквизиторов, которые прошли через чистилище и вернулись оттуда с пустыми глазами.

— Того, который чует ересь за версту, даже если еретик закопал свой амулет в землю на три локтя и сверху посадил церковную розу, поливая её святой водой каждое утро. Того, который не успокоится, пока не вырвет язык каждому, кто молился не тому дракону — не Светлому, а Тёмному, или Кровавому, или тому, у которого нет имени, но есть пасть, полная зубов. — Герхард коснулся карты кончиком пальца, и в том месте, где он прикоснулся к пергаменту, бумага слегка задымилась — не загорелась, нет, просто потемнела, будто уголь прошёлся по ней. — Ты будешь следить. Не вмешиваться. Не показываться. Просто следить. Если Изабель заключит сделку с гномами — не мешай. Если она просто купит у них оружие и уйдёт — тем лучше. Но если она попытается использовать Слезу Дракона... — он запнулся, и в этом молчании прозвучало больше, чем в любых словах: угроза, обещание, проклятие и что-то ещё, похожее на надежду, которую Герхард давно уже превратил в оружие, — ты знаешь, что делать.

— Убить её? — спросил Бернар, и его рука непроизвольно сжалась на рукояти кинжала, висящего у пояса; кинжал был старым, гномьей работы, с руной «Смерть» на лезвии, и он никогда не подводил своего хозяина, потому что гномы умели ковать холодное оружие так, что оно само находило путь к сердцу врага.

— Нет, — Герхард наклонился к уху Бернара, и Бернар почувствовал запах архиепископа — не ладан, не мирру,

не святую воду, а что-то сладковато-гнилостное, похожее на запах мяса, которое пролежало в тёплом подвале три дня, но его продолжают есть ложками, закрывая нос платком, пропитанным уксусом. Его голос стал шёпотом — тонким, как лезвие бритвы, которой цирюльники кровопускают особо важных пациентов, зная, что после этой процедуры пациент либо выздоровеет, либо умрёт, и оба исхода хороши для цирюльника, потому что платят в любом случае. — Привезти её ко мне. Живую. Сломленную. С пустыми глазами — такими пустыми, чтобы в них можно было смотреть как в колодец и не видеть дна. Чтобы она сама — своими руками, своей подписью, своей печатью — подписала отречение. И вышла замуж за моего племянника. За Генриха, которого ты видел на прошлой неделе на приёме — того, с вялым лицом и дрожащими руками, который боится даже мышей, но очень хочет стать королём, потому что корона, по его мнению, лечит от страха. Она будет его женой, а он — моей марионеткой. И тогда Империя наконец станет тем, чем должна была стать с самого начала: церковным приходом с населением в четыре миллиона душ, каждая из которых платит налог на спасение души.

— А кузнец? — спросил Бернар, и его голос прозвучал чуть громче, чем следовало, потому что имя кузнеца теперь застряло у него в голове, как заноза, которую не вытащить даже пинцетом, смоченным святой водой. — Что делать с кузнецом, ваше святейшество? Вы приказали следить

за ним, но не сказали, до какой степени я могу... воздействовать.

Герхард выпрямился и посмотрел на Бернара долгим, тяжёлым взглядом — таким взглядом смотрят на инструмент перед операцией, проверяя, не зазубрилось ли лезвие, не погнулся ли зажим, не слишком ли тонка игла для такой толстой кожи. «Убей, — сказал он, и это слово прозвучало так же обыденно, как «выпей чаю» или «надень плащ», потому что для Герхарда убийство было такой же частью его работы, как для кузнеца — удар молотом. — Но не сразу. Не легко. Не быстро. Сначала вырежи ему язык — тот самый язык, которым он, наверное, что-то сказал Изабель, чтобы она его не бросила. Потом выжги глаза — те глаза, которыми он смотрел на демона и не отвёл взгляда, как делают все нормальные люди. Потом раздробь пальцы — те самые пальцы, которыми он держал молот, когда забивал тварь, и которые, наверное, ещё помнят тепло железа и дрожь убийства. — Архиепископ улыбнулся той же пустой улыбкой, которая не трогала глаз, и в этой улыбке Бернар увидел не жестокость — жестокость он видел каждый день, — а нечто более страшное: абсолютное безразличие к тому, что он делает с живым человеком, такое безразличие, какое бывает только у богов, которые смотрят на муравьёв и не видят разницы между тем, который строит муравейник, и тем, которого раздавили сапогом. — Пусть остальные — те, кто ещё сомневается, те, кто ещё шепчется, те, кто ещё думает, что можно служить

двум господам сразу, — увидят и запомнят: Дракон Света не прощает ереси даже в самых грязных руках. Даже если эти руки пахнут навозом и дёгтем. Даже если этот еретик не умеет читать и не знает, как правильно креститься. Смерть не разбирает званий, Бернар. И моя воля — тоже.

Бернар поклонился — низко, почти касаясь лбом пола, и его цепь из позвонков звякнула, ударившись о белый мраморный квадрат, на котором лежал череп с выгравированной датой «986 год от Восхода Дракона». «Будет сделано, ваше святейшество», — сказал он, и в его голосе не было сомнений — была только уверенность человека, который знает, что его работа правильна, потому что ему так сказали, а он не привык переспрашивать.

Он вышел, и дверь закрылась за ним с тем же бесшумным, почтительным скрипом, с которым закрываются двери в склепах, чтобы не потревожить покой мёртвых.

Герхард остался один.

Он смотрел на карту — на север, на Железные горы, на точку, где была отмечена крепость Торгаль, и рядом с этой точкой кто-то из его помощников нарисовал маленького дракона, пожирающего свой хвост, что на языке имперских картографов означало «здесь живут те, кто не подчиняется никому, даже Дракону». «Изабель, — прошептал он, и его голос был таким тихим, что его могла бы услышать только стена, на стена молчала, потому что в этом кабинете даже стены знали своё место. — Ты была моей лучшей ученицей. Мо-

ей гордостью. Моим доказательством того, что даже падших можно поднять. Я научил тебя молиться — не губами, а сердцем. Я научил тебя убивать — не в гневе, а в покое. Я научил тебя носить корону так, будто она весит меньше пёрышка. А теперь ты учишься у кузнеца? У человека, который не знает разницы между молитвой и заклинанием, между святой водой и мочой?» Он усмехнулся, и эта усмешка была похожа на трещину в древней стене — неглубокая, но от неё может пойти разрушение всего здания. «Что ж. Учись. Учись у него, пока он ещё жив. А потом — очень скоро, я чувствую это всеми своими бессмертными костями, — я приду и заберу у тебя всё. Твою армию. Твою надежду. Твоего кузнеца. И тебя саму. Заберу и переплавлю, как переплавляют старое железо, чтобы сделать из него новый клинок — более острый, более послушный, более мёртвый».

Он задул свечу.

Череп на белом квадрате, тот самый, с датой 986 год, казалось, усмехнулся в ответ — и в этой усмешке, если бы кто-то мог её увидеть, не было ничего человеческого.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ: ГНОМЫИ КРЕСТЫ

(Восемь дней после вторжения. Крепость Торгаль, Врата Железного Кулака.)

Горы оказались больше, чем я представлял себе даже в самых страшных снах — в тех снах, где ты падаешь с высокой скалы и летишь так долго, что успеваешь состариться, состариться и умереть от старости, так и не долетев до

земли. В детстве я думал, что гора — это просто большой холм, который выше, чем остальные холмы, и на котором зимой лежит снег дольше, чем в долине, а летом — холоднее на один плащ. Потом я вырос и узнал от стариков в деревне, что на горах растут облака — не над ними, не под ними, а прямо на них, как бородавки на старом лице, — и что люди, которые пытаются на эти горы взобраться, падают и разбиваются насмерть, и никто не находит их тел, потому что тела забирают горные духи — те самые, которые живут в расщелинах и питаются человеческим страхом, высасывая его через глаза, когда человек смотрит вниз. Но эти горы — Железные, которых видно было ещё с равнины, но только сейчас, вблизи, они открылись по-настоящему, — были другими. Они не просто стояли на земле. Они были живыми — они дышали, шевелились, роняли мелкие камни, которые скатывались вниз с сухим, дробным стуком, похожим на стук костей в мешке, и издавали низкий, гудящий звук, который чувствовался не ушами, а костями — позвонками, рёбрами, черепом, — как будто сама гора разговаривала с тобой на языке, которому ты никогда не учился, но почему-то понимал каждое слово.

— Видишь, как блестят склоны? — спросил сэр Альберих, когда мы подошли к подножию на расстояние, с которого уже можно было разглядеть не только общие очертания, но и отдельные трещины в камне, и даже маленькие, похожие на бородавки, кустики горного мха, который, как гово-

рят, растёт только там, где прошёл голем, оставив после себя капли своей каменной крови. — Это не снег, не ледник и не лунный свет — это кварц. Кварцевые жилы, которые гномы вырубили в горах за тысячу лет работы, не покладая кирок, не закрывая глаз, не разгибая спин. Они прокопали целые залы там, где обычный человек даже трещины не заметил бы, потому что для человека гора — это просто гора, а для гнома — это книга, и каждая жила в этой книге — буква, а каждый пласт — предложение. Город внутри горы. Город, в котором никогда не заходит солнце, потому что солнца там просто нет, а вместо него — голубой свет кристаллов, от которого болит голова, если смотреть слишком долго, и начинает казаться, что ты уже умер и попал в тот мир, где нет теней.

— Как это возможно? — спросил я, и мой голос прозвучал глупо — так глупо, как могут звучать только вопросы, на которые ты уже знаешь ответ, но надеешься, что тебе скажут что-то другое, более утешительное, чем правда. — Как можно построить город внутри камня? Камень же не пустой. Камень — это камень. Там нет места.

— Гномы копают уже тысячу лет, — ответил сэр Альберих, и в его изуродованном лице появилось что-то похожее на уважение — не к гномам, а к тысяче лет, потому что тысяча лет — это даже для бессмертных эльфов слишком много, а для человека и подавно. — Они копают каждый день, каждый час, каждое мгновение, пока другие спят. Они прокладывают тоннели там, где обычный человек даже трещины

не заметит, потому что гномы видят камень насквозь — не глазами, а какой-то другой, шестой чувствительностью, которая живёт у них в бородах или в костях, никто точно не знает. А ещё у них есть големы — каменные солдаты, которые не едят, не пьют, не чувствуют боли, не предаются, не спят, не мечтают и не умирают от старости. Они просто работают. Вечно. Пока не рассыплются в пыль.

Я посмотрел на склоны, и мне показалось, что кварц не просто блестит — он пульсирует, как пульсирует вена на шее человека, который бежал слишком долго и остановился перевести дыхание, но сердце ещё не понимает, что бег окончен, и гонит кровь вхолостую. И в этой пульсации мне почудилось нечто большее, чем просто отражение света: мне показалось, что гора смотрит на меня — не одним глазом, не двумя, а тысячами маленьких, злых глаз, в каждом из которых сидит по гному, и каждый гном оценивает, сколько во мне мяса, сколько в моём мясе железа и стоит ли вообще возиться с таким тощим, бледным, с продранными локтями и с молотом, который висит на поясе, как подвешенная за ноги свинья на рынке.

— Не смотри на них слишком долго, — сказала Изабель, подходя ко мне — бесшумно, как всегда, когда она хотела быть незаметной, но в её походке всё равно чувствовалась тяжесть усталого воина, который носит доспехи так долго, что уже забыл, каково это — ходить без них. — Гномы чувствуют, когда на них смотрят — не глазами даже, а намере-

нием. Для них взгляд — это прикосновение. И они не любят, когда их трогают без спроса.

— Они чувствуют взгляд? — переспросил я, и в моём голосе прозвучало недоверие — такое же глупое, каким оно было, когда бабушка впервые рассказала мне о демонах, а я не поверил, пока не увидел первого демона своими глазами, и с тех пор перестал говорить «этого не может быть», потому что мир оказался гораздо шире, чем моя деревенская мельница и кузница с обгоревшей крышей.

— У них есть магия Порядка, — пояснила Изабель, и её рука — та, на которой чешуйки были особенно заметны, переливаясь золотом в лунном свете, как чешуя старого карпа, — легла на моё плечо; её прикосновение было тяжёлым, как прикосновение человека, который привык опираться на кого-то, даже когда не нужно опираться, просто потому, что страх упасть сильнее, чем гордость. — Это магия, которая видит любые изменения в мире — трещину в камне, муравья на дороге, сломанную ветку, каплю дождя, упавшую не туда, куда надо, и взгляд человека, который на них смотрит. Для них весь мир — это карта, и на этой карте каждое движение отмечено красным крестом. Это делает их идеальными шпионами — они знают всё, что происходит на их горе, за день до того, как это происходит. И ужасными соседями — потому что они всегда знают, когда ты ешь, когда ты спишь, когда ты занимаешься любовью и когда ты просто чешешься, и они никогда не забывают того, что увидели.

Мы подошли к воротам, и я понял, что никогда в жизни не видел ничего более страшного и более величественного одновременно — если эти два слова вообще можно ставить рядом, не боясь, что они рассыплются от противоречия. Ворота были не деревянными, не железными и даже не бронзовыми, как двери в городской ратуше, которую я видел один раз, когда ездил с отцом на ярмарку и потерялся среди толпы, а потом меня нашёл стражник и отвёл к отцу за медный грош, потому что стражники в городе не работают бесплатно, даже ради потерянных детей. Эти ворота были из камня — из цельного, неразрушимого, серого камня, в котором чувствовалась та же пульсация, что и в склонах, но в десять раз сильнее. Две гигантские плиты, каждая размером с деревенский дом, в котором жили бы три семьи со всеми детьми, курами и свиньями, и ещё осталось бы место для сеновала. На них были вырезаны руны — древние символы, которые светились голубым светом, и этот свет был не тёплым, как от свечи, и не холодным, как от луны, а каким-то третьим, неестественным, словно светили не руны, а сама пустота, которую заставили светиться, заперли в камне и забыли ключ. Я не умел читать — в нашей деревне грамотным был только священник, и тот читал по складам, водя пальцем по строке, — но почему-то понял, что написано на этих воротах. Я понял это не умом, не сердцем, а тем животным, первобытным чутьём, которое живёт в каждом человеке где-то между желудком и позвоночником и просыпается только тогда,

когда ты стоишь перед лицом смерти. «Тот, кто войдёт сюда как враг, останется здесь как памятник», — прочитал я про себя, и от этих слов у меня заныли зубы — не потому, что они были страшными, а потому, что они были правдивыми, а правда, как известно, бьёт сильнее, чем любой меч, потому что меч ранит только тело, а правда — душу.

— Гномы любят угрозы, — прокомментировал сэр Альберих, и в его вывернутом глазу мелькнуло что-то похожее на насмешку — такую же старую и выветренную, как его ожоги. — Говорят, это заменяет им чувство юмора. У людей — шутки. У эльфов — стихи. У гномов — угрозы, вырезанные на камне и подсвеченные магией, чтобы никто не мог сказать, что он не видел предупреждения.

— Тише, — оборвала Изабель, и её голос прозвучал резко, как удар хлыстом, хотя она даже не повысила тона. — Мы здесь не гости даже — мы просители. Мы пришли просить у них помощи, потому что без их големов и огнестрелов против демонов не выстоять. Не зли их раньше времени. Гномы помнят обиды дольше, чем ты живёшь, и мстят за них так, что враги предпочитают сразу умереть, чтобы не видеть, что с ними сделают.

Она подошла к воротам — медленно, спокойно, с той уверенностью, которая появляется у человека, который уже всё проиграл и больше ничего не боится, потому что бояться нечего, когда за спиной только пепел, а впереди только смерть, — и постучала.

Стук был тихим — тише, чем стук моего молота по холодной стали в тот момент, когда я только начинал работу и металл ещё не поддавался, но уже чувствовал мою волю. Но эхо отразилось от скал с такой силой, будто ударили не ладонью по камню, а сотней молотов по наковальне, и ушло вглубь горы, множась, разрастаясь, превращаясь в грохот, который, наверное, слышали гномы даже в самых глубоких шахтах, даже на том уровне, где воздух уже не движется и люди задыхаются без магических масок, свисающих с потолка на железных цепях. Через минуту — или через вечность, потому что в горах время течёт по-другому, гуще и медленнее, как мёд в бочке, которую поставили в погреб и забыли на зиму, — ворота начали открываться. Каменные плиты разъезжались в стороны, словно их толкали невидимые гиганты — или не невидимые, а просто те, кого мы не могли увидеть, потому что глаза человека не приспособлены к магии Порядка, которая делает своих слуг прозрачными для непосвящённых. Внутри горел свет — не солнечный (солнца здесь, под толщей горы, не было никогда и не будет до окончания времён), не свечной (свечи в горах не держат, потому что воздух слишком сухой, а воск трескается и падает хлопьями), а ровный, холодный, голубой — магический, такой же, как на рунах, и такой же пульсирующий, как сердцебиение гигантского зверя, которого убили тысячу лет назад, но сердце забыли вытащить, и оно всё бьётся, питаясь магией, которая осталась в стенах.

— Добро пожаловать в Торгаль, — сказал голос из темноты — низкий, металлический, с вибрацией, которая чувствовалась не в ушах, а в зубах, в челюсти, в костях черепа, заставляя язык вибрировать на нёбе, как будто ты пытаешься говорить, но тебя трясёт от холода, которого нет. — Леди Изабель. Мы ждали вас ещё три дня назад. Вы опоздали. В горах опоздания не прощают, но мы решили сделать исключение — ради артефакта, который вы принесли.

Из проёма вышел гном, и я впервые в жизни увидел Железный народ так близко — не на картинке, не на гобелене, не в рассказах пьяных купцов, которые видели всё на свете и ещё половину того, чего не видели, но ввали так складно, что им хотелось верить. Он был ниже меня на три головы — я смотрел на него сверху вниз, как смотрят на ребёнка, который только научился ходить и ещё падает через каждые три шага, — но шире меня вдвое, в плечах, в груди, в спине, в руках, которые толщиной были с моё бедро и заканчивались ладонями, похожими на кузнечные меха, сложенные пополам. Борода спускалась до пояса, заплетённая в множество мелких косиц, на концах которых звенели маленькие молоточки — не настоящие, конечно, а ритуальные, сделанные из чистого серебра, с выгравированными на них рунами, которые, как говорят, защищают от злых духов, живущих в каменной пыли. Одна рука его была железной — не протезом, не перчаткой, не искусственной конечностью, пристегнутой ремнями к культе, а настоящей механической рукой, с

шарнирами, сочленениями, когтями и гидравлическими жилами, которые тихонько щёлкали при каждом движении, как щёлкают жвалы у гигантского муравья, когда он пережёвывает древесину, чтобы построить муравейник.

— Гарм Железная Рука, — представилась Изабель, приветственно склонив голову ровно настолько, чтобы гном не мог пожаловаться на неуважение, но и не настолько, чтобы выглядеть просительницей; она балансировала на этой грани с искусством опытного дипломата, который знает, что слишком низкий поклон оскорбляет так же, как и слишком высокомерный взгляд. — Верховный кузнец Торгаля, хранитель Тысячи Печей, глава Кузнечного совета и отец троих дочерей, каждая из которых куёт лучше, чем любой мужчина в вашем роду. Честь видеть вас.

— Честь — это когда тебя не грабят, — ответил Гарм, и в его чёрных, похожих на бусинки глазах мелькнула усмешка — не злая, не добрая, а какая-то третья, гномья, которую человек, наверное, не сможет понять, даже если проживёт две жизни подряд. — А когда к тебе приходит леди с артефактом в сумке и остатками армии — это не честь. Это проблема. Большая проблема, которую надо решать, а решение проблем всегда стоит денег, времени и крови — иногда чужой, иногда своей, но всегда чьей-то.

Он посмотрел на меня, и я почувствовал, как его взгляд — тяжёлый, плотный, как кусок руды, который опускают на весы, чтобы проверить вес, — скользнул по моему лицу, по

молоту за поясом, по обгоревшей рубаше, по грязным, продраным на коленях штанам, по сапогам, один из которых давно просил новой подмётки, а второй просто хотел, чтобы его выбросили и забыли. «Это кто?» — спросил он, и в его голосе не было интереса — было только любопытство, такое же неглубокое, как лужа после дождя, в которой тонет только тот, кто сам захочет в неё лечь.

— Мой кузнец, — сказала Изабель, и её голос прозвучал твёрже, чем обычно, как будто она бросала вызов не гному, а всему миру, который смотрел на неё и ждал, когда она ошибётся.

— Твой кузнец? — переспросил Гарм, и в его голосе появилось нечто, похожее на интерес — такой интерес появляется у старого мастера, когда он видит молодого подмастерья с необычным инструментом в руках, и он уже знает, что этот подмастерье либо станет великим кузнецом, либо сожжёт мастерскую дотла, и оба исхода одинаково забавны для того, кто смотрит со стороны. — А что, обычные рыцари уже не могут починить себе доспехи? Или ты, миледи, решила, что кузнец в бою полезнее, чем в кузнице?

— Он убил демона кочергой, — вмешался сэр Альберих, и его вывернутый глаз — тот, что смотрел в двух направлениях сразу — блеснул в голубом свете рун, как блестит лезвие ножа, который вытащили из ножен, чтобы показать, но не успели убрать обратно, прежде чем им кто-то поранился. — Кочергой, Гарм. Обычной кузнечной кочергой, раскалён-

ной в горне. Не освящённой. Не заговорённой. Просто железной. Он ткнул ей демону в глаз, и тварь сдохла. Теперь он при леди — не как рыцарь, а как её... — он запнулся, подбирая слово, — как её совесть.

Гном замолчал. Его железная рука перестала щёлкать, и в этой тишине — резкой, внезапной, как тишина после взрыва, когда уши ещё звенят, а мозг ещё не понял, что опасность миновала, — я услышал, как где-то в глубине горы капает вода: кап, кап, кап, каждый удар — как удар молоточка по серебряной наковальне, которую гномы сделали тысячу лет назад и с тех пор не выносили на свет, потому что она стала слишком священной для обычных глаз. «Кочергой, — повторил Гарм медленно, смакуя слово, как смакууют кусок старого, выдержанного сыра, который пахнет так, что у нормального человека вывернет желудок, а у ценителя — потекут слюнки. — Кочергой убил демона... кочергой...» Он вдруг рассмеялся — громко, раскатисто, так, что эхо разнеслось по всему тоннелю, дробя зубы и сотрясая стены, и в этом смехе я услышал не насмешку, а восторг — такой же чистый, наивный и безжалостный, как у ребёнка, который впервые увидел, как горит муравейник и муравьи бегут во все стороны, а он стоит и хлопает в ладоши, потому что это красиво. — Ха! Это я понимаю! Это по-нашему! Без молитв, без святых клинков, без благословений, без святой воды — просто раскалённым железом в глаз! Как в старой гномьей песне: «Не верь в драконов, верь в молот, потому что молот

не обманет, а дракон обманет, даже если он твой отец»!

Он хлопнул меня по плечу — железной рукой, той самой, с шарнирами и когтями, — и я почувствовал, как мои кости скрипнули под тяжестью удара, как скрипят половицы в старом доме, когда на них наступает очень толстый человек, который не рассчитывает свой вес; я еле устоял на ногах, но устоял, и это, кажется, понравилось гному ещё больше, потому что он хлопнул меня снова — легче, почти отечески, — и сказал: «Ты мне нравишься, парень. Ты стойкий. Редкое качество в этом мире, где все падают от первого же удара. Идём. Я сам проведу вас к Верховному совету. Без меня они будут торговаться до утра, а я хочу спать — я старый гном, мне нужно много спать, чтобы борода не выпадала».

Он развернулся и зашагал в темноту, и мы пошли следом — Изабель впереди, следом за ней сэр Альберих, потом я, потом рыцари и солдаты, которые оглядывались по сторонам с таким видом, будто вошли в пасть к живому дракону и ещё не решили, стоит ли радоваться, что дракон пока не жуёт.

Торгаль оказался больше, чем я мог представить себе в самых смелых мечтах — не потому, что я был смелым, а потому, что я никогда не пробовал мечтать так далеко, зная, что мечты о далёком только мешают стучать молотом по ближнему, и без того тяжёлому, без того горячему, без того опасному. Мы шли по тоннелю, который постепенно расширялся, превращаясь из щели в коридор, из коридора в улицу, из улицы в гигантский зал, в котором, наверное, мог бы поме-

ститесь целый город, с домами, базарами и собором посередине, но вместо собора там была наковальня. Потолок терялся в темноте — я смотрел вверх, пока у меня не закружилась голова, и так и не увидел конца; стены — эти стены были живыми: кварцевые жилы пульсировали голубым светом, и мне казалось, что я слышу их пульс — мерный, тяжёлый, как удар сердца великана, который спит под горой и видит сны о том времени, когда он был маленьким, а мир был большим, и в этом мире не было ни демонов, ни людей, а были только камни, вода и ветер.

— Это магия Порядка, — объяснила Изабель, заметив мой взгляд — такой же глупый, наверное, как у щенка, который увидел горящую свечу впервые и не понимает, почему нельзя сунуть в неё нос. — Гномы вплавили в гору кристаллы Иррила на глубину тысячи локтей — не в одном месте, а по всей горе, во всех её жилах, во всех трещинах, во всех порах. Кристаллы питают свет, поддерживают температуру — здесь всегда тепло, даже зимой, когда наверху лежит снег толщиной в человеческий рост, — и даже управляют воротами. И шпионят, — добавил сэр Альберих, и его вывернутый глаз — тот, что смотрел криво, — блеснул в голубом свете, как блестит масло на воде, когда солнце только встаёт и ещё не согрело землю. — Не забывай про шпионаж, Изабель. Это самое главное. Кристаллы не только светят — они запоминают. Каждое твоё слово, каждый твой шаг, каждый твой вздох — всё это остаётся в камне навсегда, и если ко-

гда-нибудь гномы захотят тебя шантажировать, они достанут записи твоих самых сокровенных мыслей и проиграют их на Совете при всех.

— Заткнись, — бросил через плечо Гарм, и в его голосе не было злости — была усталая, привычная досада человека, который слышит одну и ту же шутку уже тысячу лет и каждый раз вынужден делать вид, что она ему ещё не надоела. — Мы не шпионим. Шпион делает вид, что его нет, а потом продаёт твои секреты врагам. А мы наблюдаем открыто. Мы смотрим на тебя, и ты знаешь, что мы смотрим. Если у тебя есть что скрывать — не ходи к нам в горы. И не пей наше вино. И не спи на наших кроватях. И не проси у нас големов. Потому что каждая услуга, которую гном оказывает человеку, стоит дороже, чем человек готов заплатить.

Мы прошли ещё с полчаса — или с час, или с целую вечность, потому что в горах, под землёй, без солнца и без луны, время переставало быть тем, к чему я привык наверху, и превращалось в нечто тягучее, вязкое, как смола, которая застывает на стволе сосны и ждёт, когда её соберут, чтобы сварить из неё дёготь для колёсных осей. Тоннели ветвились, пересекались, снова расходились, и если бы Гарм не шёл впереди с уверенностью человека, который знает каждый камень, каждую трещину, каждую выбоину на своём пути, мы бы заблудились в первой же развилке, как слепые котята в мешке. Нам встречались другие гномы — коренастые, бородастые, с горящими глазами, в которых отражался голубой свет

кристаллов, и эти глаза смотрели на нас без враждебности, но и без дружелюбия — с расчётом, с оценкой, с холодной, безжалостной арифметикой, которая просчитывала: сколько мы стоим живыми, сколько — мёртвыми, и стоит ли вообще тратить на нас время, если через неделю мы всё равно умрём от демонского клинка и наше имущество можно будет забрать бесплатно. Я чувствовал на себе эти взгляды и понимал: нас оценивают. Каждого по отдельности. Изабель — как полководца, сэр Альбериха — как убийцу, меня — как рабочую лошадь, которую можно нагрузить, погонять, а когда она упадёт — съесть, потому что гномы, как я слышал, в голодные времена едят мясо павших лошадей, и запивают его своим знаменитым вином, которое крепче, чем любая человеческая настойка, и от которого даже у эльфов двоится в глазах.

— Мы пришли, — сказал Гарм, останавливаясь перед дверью, которая была не просто дверью, а произведением искусства, таким же древним и страшным, как само это место. Дверь была из чистого железа — не из стали, не из чугуна, а из кованого железа, которое ковали триста лет, слой за слоем, проковывая каждый миллиметр так, чтобы в металле не осталось ни одного пузырька воздуха, ни одной трещины, ни одного места, где клинок врага мог бы войти глубже, чем на полную глубину. На двери горели руны — красным, в отличие от голубых рун на воротах, и этот красный свет был похож на свет только что пролитой крови, которая ещё не успела свер-

нуться и всё ещё дышит теплом живого тела. — Верховный совет ждёт. Леди Изабель — за мной. Рыцари — останутся здесь. Это не их разговор. Это разговор царей и кузнецов. А рыцари — они только мечи. Мечи не торгуются. Мечи только рубят.

— Я пойду с ней, — сказал я, и мой голос прозвучал громче, чем я хотел, — громче, чем мог бы прозвучать голос человека, который знает своё место и не лезет туда, куда его не звали.

Все обернулись. Гарм посмотрел на меня с удивлением — с таким удивлением смотрят на собаку, которая вдруг заговорила человеческим голосом и попросила налить ей чаю. Изабель — с тревогой, с такой тревогой, какую я видел в её глазах только один раз — когда она смотрела на уходящего Бернара и понимала, что её армия уменьшилась на треть, а она ничего не может с этим сделать. Сэр Альберих что-то прошептал — проклятие или молитву, я не расслышал, — и его изуродованное лицо стало ещё более изуродованным, если это вообще возможно, потому что его щека дёрнулась, и шрам, пересекающий губу, стал белым, как мел.

— Ты? — переспросил Гарм, и его железная рука перестала щёлкать снова, и в тишине я услышал, как где-то далеко-далеко, на самом дне горы, бьют в наковальню — глухо, ровно, как бьётся сердце. — Зачем? Какая от тебя польза на Совете? Ты не умеешь торговаться. Ты не знаешь цен на големов. Ты не понимаешь, что такое магия Порядка и поче-

му кристаллы Иррила нельзя трогать голыми руками, если не хочешь, чтобы они приросли к коже навечно. Зачем ты нужен на Совете?

— Потому что я её кузнец, — сказал я, и слова пришли сами, как приходят удары молотом, когда рука уже привыкла к работе и не ждёт команды от мозга. — А кузнецы нужны на переговорах, когда речь идёт о металле. Артефакт, который она принесла — Слеза Дракона, — это же сплав, верно? Металл, которого нет в природе. Сплав, который никто не может повторить уже тысячу лет. Вы захотите его изучить — кто бы на вашем месте не захотел? — а я могу рассказать, как он ковался. Не потому, что я его ковал — я не ковал, я даже не видел его ни разу. А потому что я кузнец и я чувствую металл. По звуку. По цвету. По тому, как он поддается молоту. По тому, как он пахнет, когда его нагреваешь до каления. По тому, как он дышит, когда остывает, и как стонет, когда его бьют.

Гарм прищурился, и его чёрные глаза стали похожи на две бусинки угля, которые только что вынули из горна и ещё не успели остудить, так что от них шёл жар, который можно было почувствовать даже с расстояния в три шага.

— Ты умеешь читать руны? — спросил он, и в его голосе прозвучало сомнение — такое же тяжёлое, как его железная рука, которой он хлопал меня по плечу.

— Я умею читать металл, — ответил я. — Руны — это язык драконов, а я не дракон. Я человек. Мой язык — это

молот. Мои буквы — это искры. Мои книги — это наковальни, потрескавшиеся от тысяч ударов, каждая трещина в которых — это история про то, как металл не хотел поддаваться, но поддался, потому что кузнец оказался упрямее, чем железо, которое он ковал.

Гном молчал целую минуту — или целую вечность, — и в этой тишине я слышал, как моё сердце бьётся где-то в горле, как бьётся пойманная рыба о дно лодки, когда её уже вытащили из воды, но она ещё не поняла, что всё кончено, и продолжает бороться с воздухом, который её убивает. Потом Гарм расхохотался — громко, раскатисто, так, что руны на железной двери вспыхнули ярче, как будто они подхватили его смех и превратили его в свет. «Пусть идёт, — сказал он Изабель, и в его голосе не было разрешения — было признание, такое же редкое и ценное, как хороший клинок в руках плохого солдата. — Мне нравится этот парень. Он говорит как гном. Он мыслит как гном. Он смотрит на мир как гном — снизу вверх, сквозь дым и копоть, и видит не красоту, а прочность. Может быть, в его жилах течёт наша кровь — далёкая, разбавленная, почти невидимая, но кровь есть кровь, она не забывает своих, даже через десять поколений». Он хлопнул меня по спине — опять железной рукой, опять больно, но я уже знал, чего ожидать, и не качнулся, только зубы сжал так, что они скрипнули, — и сказал: «Идём, кузнец. Посмотрим, что ты умеешь. Может быть, ты и вправду стоишь тех денег, которые леди за тебя просит. А может

быть, нет. В любом случае — будет весело».

Совет заседал в круглом зале, стены которого были выложены человеческими черепами, и я не сразу понял, что это черепа — сначала мне показалось, что это просто белый камень с трещинами, такой же, как кварц на склонах, но более старый, более потрескавшийся, более мёртвый. Но потом свет упал по-другому — красный свет рун на двери смешался с голубым светом кристаллов, и я увидел глазницы, увидел челюсти, увидел пустые улыбки, такие же пустые, как улыбка архиепископа Герхарда, о котором я слышал только вполуха, но уже знал, что это имя не сулит ничего хорошего. Черепов было много — сотни, может быть, тысячи, и они были уложены в стены ровными рядами, как кирпичи, и скреплены глиной, смешанной с кровью, чтобы никто не мог даже подумывать, что эти черепа когда-то были людьми, которые дышали, любили, ненавидели, молились, грешили и умерли где-то в этих горах, не успев попрощаться с теми, кто остался наверху.

— Не бойся, — шепнула Изабель, заметив, что я побледнел — побледнел так, что моё лицо, наверное, сравнялось цветом с этими черепами, и если бы кто-то посмотрел на меня со стороны, он мог бы подумать, что я тоже часть стены. — Это черепа врагов. Гномы не убивают своих — они слишком дорожат каждым гномом, потому что гномы рожают редко, и каждый ребёнок — это праздник для всей горы. Это черепа тех, кто пытался захватить Торгаль, украсть кри-

сталлы Иррила или просто оскорбил гнома, не извинившись вовремя. Гномы считают, что так души побеждённых служат им вечно — не как рабы, а как напоминание. Напоминание о том, что происходит с теми, кто приходит в горы с мечом, а уходит с костями в стене.

— А если враг не сдаётся и не умирает? — спросил я, и в моём голосе прозвучало не любопытство, а страх — такой же липкий и холодный, как тот, который я чувствовал, когда впервые увидел демона и понял, что моя кочерга может быть слишком короткой, чтобы достать до его глаза.

— Тогда они оставляют его в живых, — ответила Изабель, и её голос стал тихим-тихим, как шёпот, который слышишь только во сне, когда уже не можешь проснуться, потому что сон слишком глубокий, а явь слишком далёкая. — Это хуже. Поверь мне, Михель. Смерть — это милость. Гномы не дают милости своим врагам. Они дают работу.

В центре зала стоял стол — низкий, круглый, из чёрного базальта, отполированного до такого блеска, что в нём отражались руны, черепа, лица гномов и моё собственное лицо — бледное, испуганное, с глазами, которые, казалось, смотрели на меня с осуждением, как будто они не верили, что я здесь нахожусь по собственной воле, а не по принуждению. Вокруг стола сидели семеро гномов, и я понял, что это семеро — шестеро стариков с длинными седыми бородами, которые свисали с края стола почти до пола, и одна женщина — молодая, по гномьим меркам, наверное, лет двести, с ры-

жими волосами, заплетёнными в тысячу мелких косичек, на концах которых звенели те же серебряные молоточки, что и на бороде Гарма, и с глазами, которые горели зелёным — не зелёным, как трава, а зелёным, как яд, который капают в вино, когда хотят, чтобы смерть была медленной и мучительной, но никто не мог догадаться, что это не болезнь, а отрава.

— Изабель, — сказала женщина, когда мы вошли, и её голос был похож на треск льда — такой же хрупкий, такой же холодный и такой же острый. — Ты пришла. Я думала, ты умрёшь раньше. Думала, что демоны сожрут тебя ещё на подходе к горам, и нам не придётся решать эту головную боль — что делать с королевой без королевства, с армией без солдат, с артефактом, который никто не умеет использовать, кроме тебя.

— Здравствуй, Эллана, — ответила Изабель, и её голос был таким же ровным, как базальтовая столешница, — ни тепла, ни холода, только камень, который помнит всё, но не выдаёт ни одного секрета. — Я тоже рада тебя видеть. Даже несмотря на то, что ты — эльфийская княжна, которая сидит в гномьем совете и пьёт гномье вино, которое, как я слышала, разъедает желудок быстрее, чем кислота разъедает железо.

Я не понял, кто она — эта Эллана, которую называли эльфийским именем, но которая сидела среди гномов и была одета в гномью броню, стальную, с рунами, и с молотом за поясом, поменьше моего, но изящнее, с гравиров-

кой на рукояти, изображающей дракона, который пожирает свой хвост — тот самый символ, который на картах означал «здесь живут те, кто не подчиняется никому».

— Не смотри так, — усмехнулась женщина, заметив мой взгляд — глупый, растерянный, такой же глупый, как у телёнка, которого только что отлучили от матери и поставили перед закрытыми воротами, за которыми пасутся другие коровы, а он не знает, как их открыть. — Я не гном. Я эльфийская княжна, дочь Лесного Совета, правнучка той самой эльфийки, которая научила людей стрелять из лука, когда люди ещё жили в пещерах и боялись огня. Я посол Лесного Союза при дворе Торгаля. Уже третий год. И за эти три года я поняла, что эльфы — слишком мягкие, слишком медленные, слишком вежливые, чтобы иметь дело с гномами. С гномами нужно быть как гном. Или как железо — твёрдым, острым и готовым к тому, что его будут бить молотом, пока оно не приобретёт нужную форму.

Она встала из-за стола — плавно, как кошка, которая не боится показать свою грацию, потому что знает, что грация — это тоже оружие, — и подошла ко мне. Я почувствовал её запах — лесной, свежий, с нотками мёда и чего-то ещё, чего я не мог узнать, потому что в моей деревне не было таких запахов — только дым, железо, пот и иногда, по праздникам, жареное мясо с чесноком. Она обошла меня вокруг — медленно, изучающе, как повитуха обходит новорождённого, проверяя, все ли пальцы на месте и не кривой ли по-

звоночник. «Твой кузнец?» — спросила она у Изабель, и её голос прозвучал насмешливо, но не зло — насмешливо так, как могут насмеяться только те, кто сам прошёл через огонь и воду и знает цену каждому человеку, потому что видела, как гниют заживо те, кто был красивее и сильнее этого невзрачного кузнеца с продранными локтями. «Тот самый, который убил демона кочергой?»

— Михель, — представил меня Гарм, и в его голосе прозвучала гордость — не за меня, конечно, за себя, потому что он первый меня заметил и привёл на Совет, и если я окажусь полезным, это будет его заслуга, а если я облажаюсь — моя. — Кузнец леди Изабель. Тот самый, который убил демона кочергой. Не мечом. Не копьём. Не молитвой. Кочергой, Эллана. Простой кузнечной кочергой, которую можно найти в любой деревне, в любой кузнице, в любом доме, где есть хоть капля уважения к железу.

Эллана перевела взгляд на меня, и её белые, почти прозрачные брови — такие белые, что их можно было увидеть только под определённым углом, когда свет падал на её лицо ровно, а не сбоку, — приподнялись, и в её глазах без зрачков появилось что-то похожее на интерес — такой интерес появляется у хирурга, когда ему приносят пациента с редкой болезнью, которую он никогда не видел, но про которую много читал в старых книгах, написанных на мёртвом языке.

— Кочергой? — повторила она, и её улыбка — холодная, как лёд, но острая, как лезвие, — коснулась губ, не согревая

их, не смягчая, не делая её лицо более человечным. — В моём народе говорят: если у тебя нет оружия — стань оружием. Если у тебя нет меча — используй палку. Если нет палки — используй камень. Если нет камня — используй зубы. Главное — не стоять на месте и не ждать, пока враг сам умрёт от старости, потому что демоны не стареют, они только становятся злее. Ты, видимо, стал оружием, кузнец. Или всегда им был, просто не знал об этом, пока не пришёл тот самый день, когда знание стало бесполезным, а умение — единственным, что осталось.

— Я просто делал свою работу, миледи, — ответил я, и мой голос прозвучал тихо, сипло — так, наверное, звучат голоса людей, которые заблудились в горах и уже три дня не пили воды, а когда находят ручей, не могут напиться, потому что зубы стучат от холода, а руки дрожат так, что не удержат кружку.

— Работу? — переспросила она, и её голос стал на тон выше — не от удивления, от чего-то другого, от чего-то, что было похоже на гнев, но не гнев, а скорее недоумение перед той простотой, с которой этот человек называет убийство работой. — Твоя работа — ковать. Ковать подковы, плуги, гвозди, дверные петли, решётки на окна, чтобы воры не лезли. Твоя работа — делать вещи, которые помогают жить. А ты убивал. Это разная работа. Совсем разная. Как между кузнецом и мясником — и тот, и другой работают с железом, но один куёт лемех, а другой режет свиней, и если перепутать,

получится, что свинья будет в железе, а лемех — в крови, и ни то, ни другое использовать уже не получится.

— Кузнец, который не может убить, куёт плохое оружие, — сказал я, и эти слова пришли сами, как приходят удары молотом, когда рука уже не думает, а просто бьёт — туда, где нужно, с той силой, которая нужна, в тот момент, который нужен, потому что тело знает то, что мозг ещё не успел обдумать. — Потому что он не понимает, для чего оно нужно. Он не чувствует тяжести клинка в чужой руке. Он не знает, как металл ведёт себя, когда входит в плоть — скользит, застревает, ломается, крошится. Он никогда не слышал того звука — когда острое встречается с ребром, и кость трещит, как сухая ветка под ногой, а мышцы схватывают лезвие так, что его не вытащить без второй руки. Такой кузнец делает красивое оружие. Но красивое оружие — это мёртвое оружие. Живое оружие — это то, которое сделал тот, кто знает, что такое убивать, и всё равно продолжает ковать, потому что ковать — это единственное, что он умеет лучше, чем убивать.

Эллана замерла, и в этот момент — в эту долю секунды, когда её белое, как у всех эльфов, лицо стало ещё бледнее, а зелёные глаза зажглись ярче, как угли, в которые плюнули жиром, — я понял, что сказал что-то важное. Что-то такое, что нельзя было сказать, но я сказал, и теперь уже не отмотать, не отменить, не отменить, как нельзя отменить удар молота, когда он уже опустился на раскалённую сталь и оставил на

ней вмятину, которая останется навсегда.

Она медленно обошла меня вокруг — не спеша, не то-ропясь, как кошка обходит миску с молоком, проверяя, не отравлено ли оно, но при этом зная, что если отравлено, она всё равно будет пить, потому что другого молока в этой деревне нет. Потом остановилась напротив, посмотрела в глаза — не сверху вниз, не снизу вверх, а ровно, как смотрят равные на равных, когда оба знают, что равных среди людей не бывает, но иногда можно сделать вид, что ты веришь в равенство, чтобы не начинать драку раньше времени.

— Странный человек, — сказала она наконец, и в её голосе исчезла насмешка — осталась только констатация факта, такая же холодная и точная, как запись в книге учёта, где напротив имени кузнеца Михеля появилась пометка «опасен, но полезен». — Ты говоришь как эльф — складно, с образами, с намёками, с подтекстом, который можно читать и перечитывать, и каждый раз находить что-то новое. Но воняешь как гном — железом, дымом, потом и ещё чем-то, чего я не могу определить, но что заставляет меня держаться от тебя на расстоянии вытянутой руки, потому что запах — это тоже информация, а информация — это сила, и я не хочу, чтобы ты знал, что я знаю твой запах.

Я не знал, обижаться ей или благодарить, поэтому просто кивнул — так, как кивают, когда не знают, что ответить, но хотят показать, что ты услышал и понял, даже если не понял ничего, кроме того, что эта эльфийка — очень опасная жен-

щина, и на неё лучше не смотреть слишком долго, потому что у неё нет зрачков, и если смотреть в эти пустые, молочные глаза слишком долго, можно забыть, кто ты есть, зачем ты здесь и как тебя зовут.

— Давайте к делу, — прервал один из гномов-стариков — тот, который сидел справа от пустующего места Гарма, с бородой, заплетённой в одну толстую косу, которая лежала на столе, как змея, уставшая ползать и решившая отдохнуть. Его голос был скрипучим, как несмазанная телега, которую тащат по каменистой дороге, и от этого голоса у меня заныли зубы, потому что в нём была такая же вибрация, как в голосе Гарма, но более старая, более гнилая, более близкая к той частоте, на которой распадается железо на составные части. — Леди Изабель, ты просишь у нас големов и огнестрелы. Три сотни — половину нашего резерва, всё, что мы накопили за последние сто лет работы без выходных и праздников. Ты просишь наше лучшее оружие, нашу гордость, нашу защиту против всего, что движется, дышит и хочет нас убить. В обмен ты предлагаешь... что? Что такого ценного может предложить женщина без королевства, армия без солдат, страна, которая уже сгорела дотла, от неё остались только пепел и воспоминания, которые с каждым днём становятся всё более горькими и всё менее полезными?

— Слезу Дракона, — сказала Изабель, и её голос прозвучал громко, чисто, как звук меча, который вытаскивают из ножен, чтобы показать врагу, что он ещё остер и ещё жаждет

крови. — На один месяц. Для изучения. Вы сможете делать с ней всё, что захотите — греть, остужать, бить молотом, резать ножницами, кидать в кислоту, закапывать в землю, поливать водой, сушить на солнце. Вы сможете узнать её состав, её структуру, её секрет — тот секрет, который эльфы унесли с собой в могилу тысячу лет назад, когда последний мастер, умевший ковать Слезы, умер от старости, не успев передать знания ученикам, потому что ученики погибли в войне, и война была такой же жестокой, как та, что идёт сейчас на севере.

Тишина — такая тишина, что я услышал, как где-то в стене, среди черепов, прошелестела мышь, пробираясь от одного черепа к другому, чтобы погрызть кости, которые уже никто не охраняет. Гномы переглянулись — не быстро, не нервно, а медленно, как переглядываются люди, которые знают, что за ними наблюдают, и каждое движение должно быть обдуманным, потому что одно неверное движение может стоить сделки, а одна сделка может стоить жизни.

— Слеза Дракона, — прошептал один из гномов — самый старый, с бородой, которая касалась пола и волочилась по нему, когда он поворачивал голову, оставляя за собой след, похожий на след улитки, но не из слизи, а из пыли, которая оседает на камнях веками. — Легендарный артефакт. Тот самый, который закрыл разлом сто лет назад у Трёх Дубов, когда казалось, что демоны уже победили, и люди уже начали петь похоронные песни, и эльфы уже ушли в свои леса, что-

бы там доживать последние дни в тишине и покое, и даже гномы закрыли ворота Торгаля, потому что не было смысла выходить наружу, если снаружи уже не осталось ничего, кроме Бездны.

— Тот самый, который искали три поколения наших мастеров, — добавил другой гном, и в его голосе прозвучала обида — такая старая и застарелая, как ржавчина на мече, который пролежал в болоте сто лет, и его уже нельзя очистить, нельзя наточить, нельзя использовать по назначению, можно только выбросить или перековать на гвозди. — Тот, который эльфы спрятали, когда поняли, что гномы близки к разгадке. Тот, который, если верить старым рукописям, содержит формулу сплава, не уступающего по прочности адамантию, но весящего в два раза меньше, и кующегося при температуре, которую можно получить в обычной угольной печи, без магических кристаллов и драконьего пламени.

— Тот, который... — начал третий, но Эллана подняла руку — красивую, тонкую, с длинными пальцами, на каждом из которых был надет серебряный перстень с руной, означающей «тишина», — и все замолчали, даже гномы, даже Гарм.

— Это великая цена, — сказала эльфийская княжна, и её голос был спокойным, слишком спокойным, как вода в озере, под которой скрываются камни, о которые можно разбить голову, если нырнуть не туда. — Великая цена за то, о чём вы просите. Но мы не можем дать вам три сотни големов. Это наша защита, наша армия, наша последняя линия обо-

роны на случай, если демоны прорвутся через людей, через эльфов, через все королевства и придут сюда, в горы, чтобы вырыть наши кристаллы, растопить наше железо и выкурить нас из наших домов, как выкуривают пчёл из улья, чтобы забрать мёд. Мы дадим вам пятьдесят големов. Двадцать огнестрелов — тех самых, которые стреляют железными ядрами на полмили и пробивают демонскую шкуру, как бумагу. И один отряд Каменных Стражей — двадцать гномов, которые умеют не только ковать, но и драться, и которые не бросят вас в бою, даже если увидят, что победа невозможна, потому что гномы не умеют отступать — у них ноги слишком короткие, а гордость слишком длинная.

— Маловато, — сказала Изабель, и её голос был твёрдым, как плита, которой гномы закладывают вход в свои самые секретные шахты — такую плиту не сдвинуть ни тараном, ни магией, ни даже молитвой, если молитва не подкреплена золотом. — Маловато для войны, в которой решается судьба всего мира, а не только Торгалия. Если мы проиграем — демоны придут сюда, завалят ваши шахты, вырежут ваши семьи и переплавят ваши големы на лемехи, чтобы пахать землю, которую они превратят в пустыню. Вы даёте нам слишком мало. Вы должны дать больше.

— Это всё, что мы можем дать без... — Эллана запнулась, и я увидел, как дёрнулась её тонкая, бледная шея, как дёргается нить, когда натягивается слишком сильно и вот-вот лопнет. — Без залога, — договорила она и опустила глаза —

впервые за весь разговор, впервые с тех пор, как мы вошли в этот зал, и этот жест — опущенные веки, слегка прикушенная губа — говорил о том, что она предлагает не то, что ей хочется предлагать, а то, что вынуждена предлагать, потому что гномы не уступают в торге, если не чувствуют, что у них есть запас прочности.

— Без чего? — спросила Изабель, и в её голосе появилась сталь — не та, из которой делают мечи, а та, из которой делают цепи, которыми приковывают рабов к вёслам, чтобы они не сбежали в первом же порту.

— Без залога, — повторила Эллана, поднимая глаза — пустые, молочные, без зрачков, и в этой пустоте было что-то такое, от чего у меня побежали мурашки по спине, как будто кто-то провёл по моему позвоночнику ледяным пальцем.

Гарм Железная Рука встал — медленно, тяжело, как поднимается медведь после зимней спячки, когда его суставы ещё скрипят, а мозг ещё не полностью проснулся, но тело уже знает, что пора идти охотиться, потому что желудок пуст, а ночь длинная. «Если ты хочешь получить больше, — сказал он, и его голос был громче, чем обычно, громче, чем позволяли стены этого зала, полного черепов и секретов, — ты должна дать нам залог. Не золото — золото у нас есть, больше, чем вы могли бы переплавить за всю вашу жизнь, даже если бы вы переплавляли его каждый день с утра до ночи, не разгибая спин. Не землю — земля у нас своя, и она дороже нам, чем твоя земля тебе, потому что наши горы пом-

нят наших предков, а твои равнины помнят только мёртвых. Не кровь — кровь мы берём в бою, и её всегда хватает. Мы просим другое». Он посмотрел на меня — и в его чёрных, как бусинки угля, глазах я увидел не злобу, не корысть, а расчёт — холодный, точный, как у торговца на рынке, который оценивает товар и знает, сколько за него можно получить, даже если товар не хочет, чтобы его продавали. «Живого заложника, — сказал Гарм, и его железная рука бесшумно сжалась в кулак, на котором когти сошлись вместе, как лепестки железного цветка. — Человека, который гарантирует, что ты вернёшься и отдашь нам артефакт по окончании месяца. Не мёртвый заложник — мёртвый не нужен, от мёртвого нет гарантий, кроме того, что он не убежит. А живой. Который будет дышать, есть, пить, бояться. Который будет напоминать тебе каждый день, каждую ночь, каждый час, что ты должна вернуться».

Изабель побледнела — побледнела так, что золотые чешуйки на её руках стали видны ярче, как будто её кожа стала прозрачной и через неё проступило то, что было спрятано внутри: магия Света, проклятие, дар, наказание — всё, чем её наградили боги, когда она стала королевой, а потом отняли, когда она стала вдовой.

— Вы просите... — начала она, и её голос дрогнул — впервые за всё время, впервые с тех пор, как я её знал, впервые так, что я понял: она боится. Не демонов. Не архиепископа. Не войны. А того, что она может потерять кого-то ещё, когда

уже потеряла всех.

— Мы просим его, — перебил Гарм, и его железный палец — длинный, шарнирный, с когтем на конце — указал на меня, и я почувствовал, как этот палец упирается мне в грудь, даже не касаясь, просто указывая, а я уже чувствую его тяжесть, его холод, его неминуемую железную судьбу. — Кузнеца. Мы хотим его. Не твоего рыцаря — рыцари сбегают при первой же опасности, потому что у них есть кодекс чести, а кодекс чести всегда позволяет найти лазейку, чтобы спасти свою шкуру и не потерять лицо. Не твоего солдата — солдаты предают, когда им не платят, а ты платишь медью, а демоны платят золотом, и золото всегда убедительнее, чем медь, даже если на меди отчеканен профиль дракона. Мы просим кузнеца. Он пойдёт с нами в Кузницу Клятв. Мы живим ему Звезду Торгаля — сплав, который знает, когда его носитель лжёт, когда его носитель предаёт, когда его носитель просто сомневается в правильности своего выбора. Если ты предашь — звезда взорвётся. Если ты не вернёшься через месяц — звезда взорвётся. Если он сам попытается сбежать — звезда взорвётся. Если он просто подумает о побеге, но не сделает ни шага — звезда взорвётся чуть позже, потому что мысли тоже имеют вес, особенно если они подкреплены страхом. Если ты вернёшься и отдашь артефакт — мы её удалим. Честная сделка. Золотая сделка. Сделка, которую заключают только отчаявшиеся.

Сердце упало куда-то в живот — в ту самую пустоту, ко-

торая открывается, когда стоишь на краю пропасти и смотришь вниз, а внизу не вода, не камни, не даже дно, а просто чернота, бесконечная, беззвёздная, бездонная чернота, которая смотрит на тебя в ответ, и ты понимаешь, что если упадёшь — будешь падать вечно, потому что дна у этой черноты нет, как нет дна у Бездны, из которой приходят демоны.

Я посмотрел на Изабель — на её побледневшее лицо, на её руки с золотыми чешуйками, которые дрожали так сильно, что чешуйки звенели друг о друга, как звенит тонкая монета, упавшая на каменный пол, и в этом звоне было что-то похожее на плач.

Она смотрела на гномов — на Гарма, на Эллану, на шестерых стариков с седыми бородами, и в её глазах — серых, как зимнее небо перед снегопадом, — я увидел не гнев, не отчаяние, а пустоту. Ту самую пустоту, которая появляется, когда ты понимаешь, что выхода нет, что ты загнан в угол, и единственный способ спасти всех — это пожертвовать кем-то, кто не просил, чтобы его приносили в жертву.

— Я не могу, — прошептала она, и её голос был тише, чем шёпот мыши, которая пробиралась среди черепов. — Я не могу просить его об этом. Он не солдат. Он не наёмник. Он не просился в герои — он просил только о том, чтобы его оставили в покое, чтобы он мог ковать железо в своей деревне, чтобы он мог дожить до старости и умереть в своей постели, окружённый детьми и внуками, которых у него никогда не будет, потому что его деревню сожгли, а его будущее

сгорело вместе с домами, и он всё равно здесь, он всё равно идёт за мной, он всё равно закрыл меня от копья своим телом, хотя мог бы просто убежать в лес и забыть, что когда-то встречал леди Изабель, вдову короля, женщину с проклятием на руках и с пеплом вместо короны.

— А демоны просились? — усмехнулся Гарм, и его усмешка была такой же железной, как его рука, — безжалостной, негибаемой, привыкшей к тому, что мир состоит из железа и камня, а люди — это просто мягкая порода, которая поддаётся легче, чем базальт, но тяжелее, чем песок. — Ты думаешь, демоны спрашивали у твоего кузнеца, хочет ли он, чтобы его деревню сожгли дотла? Ты думаешь, демоны просили разрешения убить его брата и пропасть его отца? Война не спрашивает, кто просился, а кто нет. Война спрашивает только: ты готов? Готов умереть? Готов убивать? Готов отдать свою жизнь за то, чтобы другие жили? Если да — ты солдат. Если нет — ты мясо. А мясо мы не берём в заложники, потому что мясо портится быстрее, чем мы успеваем его использовать.

Я смотрел на Изабель. На её бледное лицо, на её золотые чешуйки, которые уже покрывали не только руки, но и шею, выползая из-под ворота платья, как золотая сыпь, как болезнь, которую нельзя вылечить, можно только замедлить. На её глаза — серые, пустые, полные того, чего я не умел называть, но что чувствовал в своей груди, когда сжимал молот и готовился к удару.

«Я согласен», — сказал я.

Голос мой прозвучал негромко, но в этом зале, среди чепцов и рун, среди гномов и эльфийского посла, он прозвучал так, будто я ударил в наковальню — не молотом по железу, а самым железом по самой себе, и звон пошёл по стенам, по полу, по потолку, и даже черепа, казалось, зашевелились, зашептались, закрипели челюстями, пересказывая друг другу то, что они слышали, потому что черепа тоже любят новости, особенно если новости касаются того, что скоро в стене появится новый череп.

Все повернулись ко мне — Изабель с ужасом, Гарм с одобрением, Эллан с удивлением, старики-гномы с любопытством, сэр Альберих, который стоял у входа, с чем-то средним между гордостью и сожалением, как будто он уже видел таких, как я, — тех, кто соглашался на заложничество, потому что верил, что его выкупят, а выкупали не всех, и черепа тех, кого не выкупили, теперь украшали стены этого зала, и их пустые глазницы смотрели на меня, и я смотрел на них, и мы понимали друг друга без слов.

— Что? — не поняла Изабель, и в её голосе было столько боли, сколько, наверное, не было даже в тот момент, когда ей сказали, что её муж попал в плен, потому что тогда она ещё могла надеяться, а сейчас, глядя на меня, она не могла надеяться ни на что, кроме того, что я сейчас скажу всё это в шутку, что я передумаю, что я отступлюсь, как отступаются все нормальные люди, когда видят, что впереди только

смерть.

— Я согласен, миледи, — повторил я, и мой голос стал твёрже, потому что я понял: если я сейчас замнусь, если я сейчас позволю себе испугаться, если я сейчас посмотрю на эти черепа и подумаю, что скоро я могу стать таким же черепом, лежать в стене и смотреть пустыми глазницами на таких же отчаявшихся, как я, — я действительно умру. Не телом. Душой. А душой умирать страшнее, чем телом, потому что тело умирает раз, и это быстро, а душа умирает каждый день, по чуть-чуть, и каждый день это больно, и каждый день ты молишься о том, чтобы уже всё кончилось, но ничего не кончается, потому что ты ещё не мёртв. — Я кузнец. Я всю жизнь работал с металлом. Я ковал железо, которое считалось непригодным — ржавое, с трещинами, в котором кузнецы с большим опытом, чем у меня, не видели смысла. Я ковал сталь, которая отказывалась гнуться, которая ломалась под молотом, рассыпалась в пыль, а я брал эту пыль, плавил её заново, смешивал с углём, с песком, с золой, добавлял каплю своей крови, если ничего не помогало, и снова ковал, и сталь поддавалась, потому что сталь — это не металл, сталь — это вера в то, что ты можешь изменить то, что кажется неизменным. Если кто-то сможет перековать проклятие, которое вы называете Звездой Торгалья — перековать, подчинить, выжить, — то это я. Потому что я не умею сдаваться. Я умею только стучать молотом и ждать, когда металл покорится. Это всё, что я умею. Но этого достаточно.

Эллана смотрела на меня долго — так долго, что я начал считать про себя: один удар сердца, два удара сердца, десять, двадцать, пятьдесят. Её белые брови были подняты, её пустые глаза — расширены, её губы — сжаты в тонкую линию, и на этой линии не было ни усмешки, ни насмешки, ни даже улыбки — было напряжение человека, который видит нечто необычное и пытается понять, что именно: безумие, глупость, отвагу или всё вместе.

— Ты сумасшедший, — сказала она наконец, и её голос был тихим, как тишина в горах перед обвалом, когда даже ветер замирает, потому что чувствует беду, но не знает, с какой стороны она придёт. — Ты сумасшедший, кузнец. Нормальный человек — даже нормальный солдат, привыкший к смерти, даже нормальный рыцарь, который каждый день смотрит в лицо опасности и не моргает, — не согласился бы на такое. Трое из четырёх заложников умирают в первый месяц. Умирают не от взрыва — взрыв быстр и почти безболезнен, если не считать того, что от тебя ничего не остаётся, даже имени. Умирают от страха. Звезда Торгаля чувствует страх. Она чувствует сомнение. Она чувствует усталость. И в тот момент, когда ты думаешь: «А может, она не взорвётся?» — она взрывается. Потому что само сомнение — это детонатор. Трое из четырёх. Ты понимаешь, что такое трое из четырёх? Это значит, что ты можешь умереть. Это значит, что ты, скорее всего, умрёшь. Это значит, что ты, вероятнее всего, лежишь сейчас на стене этого зала, смотришь на нас

пустыми глазницами и думаешь: «Зачем я согласился? Зачем я сказал это? Зачем я не промолчал?»

— Трое из четырёх, — повторил я, и я попытался улыбнуться, но мои губы не слушались — они дрожали, и улыбка получилась кривой, как покосившийся забор в деревне, которую сожгли демоны, и от того забора остались только обгоревшие столбы, торчащие в небо, как пальцы мёртвого великана. — Значит, один выживает. Почему я не могу быть этим одним? Почему вы все так уверены, что я умру? Вы меня не знаете. Вы не видели, как я работаю. Вы не видели, как я бил демона кочергой, когда у меня не было ни меча, ни молитвы, ни магии — только железо и злость. Вы не знаете, что я ковал клинки для соседей, когда у меня не было ни угля, ни стали, только ржавые обломки старых плугов и вера в то, что из этого можно сделать что-то полезное. Я выживал там, где другие умирали. Я выживу и здесь.

— Ты думаешь, ты этот один? — переспросила Эллана, и в её голосе прозвучало не уважение, а сомнение — такое же тяжелое, как её эльфийское происхождение, которое, наверное, тяготило её здесь, среди гномов, которые не любят эльфов, а эльфы не любят гномов, и только война и нужда заставляют их сидеть за одним столом и торговаться о заложниках, о големах, о том, кому достанется Слеза Дракона, когда всё закончится и мир снова станет миром.

Я посмотрел на свой молот. Он висел за поясом — тяжёлый, обожжённый кровью демонов, копотью пожаров и ещё

чем-то, что я не мог назвать, но что чувствовал всей своей кожей, когда брал его в руки: связью, нитью, памятью, которая жила в железе и передавалась от рукояти к моим ладоням, от моих ладоней к моему сердцу, от моего сердца к моим словам.

— Я кузнец, — сказал я, и мой голос стал твёрдым, как сталь, которую я ковал двадцать лет, — и я не знаю, выживу ли я. Я не знаю, вернётся ли леди Изабель через месяц, чтобы забрать меня отсюда. Я не знаю, не взорвётся ли ваша Звезда в тот самый момент, когда я чихну не вовремя, или кашляну, или просто подумаю о чём-то, что покажется ей изменой. Я ничего не знаю. Но я знаю одно: если я сейчас скажу «нет», если я отступлюсь, если я скажу Изабель: «Миледи, найдите другого заложника, я не хочу умирать», — я буду мёртв уже сейчас. Не телом. Душой. А душой умирать страшнее, чем телом, потому что тело можно похоронить, поставить на нём памятник, выплакать над ним все слёзы, а потом забыть и жить дальше. А душу нельзя похоронить. Она будет сидеть внутри тебя и гнить, гнить, гнить, пока от тебя не останется только пустая оболочка, которая ест, пьёт, спит, но не живёт. Я не хочу так. Я лучше умру сразу, чем буду умирать всю жизнь по кусочкам.

— Мы согласны, — сказал Гарм, и его голос перекрыл все шёпоты, все вздохи, все сомнения. — Кузнец пойдёт с нами в Кузницу Клятв сегодня же, до того как сядет солнце — или то, что заменяет солнце под горой, потому что у нас

нет солнца, у нас только кристаллы, которые светят ровно и холодно, не давая тепла, но давая свет, необходимый для работы. Леди Изабель получит големов — не три сотни, но пятьдесят, как мы и предлагали, плюс двадцать огнестрелов и один отряд Каменных Стражей, которые будут при ней до тех пор, пока она не вернётся в Торгаль с артефактом. А если она не вернётся через месяц — мы взорвём его к чертям. Ко всем чертям, включая тех, которые ещё не родились, и тех, которые уже умерли, но продолжают мучить живых. Честная сделка. Выгодная сделка. Сделка, о которой вы будете вспоминать всю оставшуюся жизнь, даже если эта жизнь будет очень короткой.

Изабель сжала кулаки так сильно, что я услышал хруст — хруст суставов, хруст чешуек, хруст костей, которые, наверное, тресали под тяжестью её гнева, её отчаяния, её бессилия. Чешуйки на её руках засветились ярче — золотым, жёлтым, почти оранжевым светом, как свет заката, когда солнце садится в море и кажется, что вода горит, и в этом свете я увидел её лицо — не усталое, не бледное, а яростное, такое яростное, каким оно, наверное, было, когда она убивала демонов, когда она узнала о пленении мужа, когда она решила идти на север одна, без армии, без поддержки, без надежды — только с горсткой верных солдат и с проклятием, которое медленно превращало её в дракона, и она не знала, что хуже: умереть от демонского клинка или превратиться в чудовище, которое убьёт всех, кто любит.

— Если с ним что-то случится, — сказала она тихо, очень тихо, и в этой тишине — такой же холодной, как голубой свет кристаллов, такой же красной, как свет рун на железной двери, такой же чёрной, как глаза Гарма, когда он смотрел на неё с усмешкой, — прозвучала такая угроза, от которой даже старые гномы, издавшие всё на свете, поёжились, и даже черепа в стене, казалось, попытались отодвинуться подальше, хотя им некуда было отодвигаться, потому что стена есть стена, и череп есть череп, и если ты уже мёртв, ты не можешь бояться, но эти черепа, наверное, боялись — боялись так, как могут бояться только те, кто уже умер, но ещё помнит, что такое страх, и эта память живёт в их пустых глазницах, как живёт эхо в пустом зале, когда уже никто не говорит, но звук всё равно есть, потому что стены помнят. — Если с ним что-то случится — если он умрёт, если он сойдёт с ума, если он потеряет руку или глаз, или просто перестанет быть тем человеком, который закрыл меня от копья своим телом, — я лично вернусь в эту гору, перебую всех ваших големов, растоплю ваши кристаллы, сожгу ваши бороды, а последним, кого я убью, будете вы, Гарм Железная Рука. Вы и ваши железные игрушки. Я скормлю ваши кости демонам, а ваши черепа поставлю на стены Серебряного города, чтобы все знали: с королевой Изабель шутки плохи. Даже когда у неё нет королевства. Даже когда у неё нет армии. Даже когда у неё есть только кузнец с молотом и горстка солдат, которые не умеют побеждать, но умеют умирать.

Гарм поднял бровь — только одну, потому что вторую, наверное, сожгли в той самой битве, в которой он потерял свою настоящую руку и приобрёл железную, и на месте сожжённой брови рос кривой, белый шрам, похожий на след от удара плетью. «Угрозы?» — спросил он, и в его голосе не было страха — была лишь усталая, привычная насмешка человека, который слышал угрозы от королей, от эльфийских князей, от драконов, от демонов и от простых солдат, которые не знали, с кем имеют дело, и думали, что гномов можно запугать громкими словами.

— Обещание, — ответила Изабель, и она повернулась ко мне — резко, как поворачивается меч в руке уставшего фехтовальщика, который знает, что если он сейчас не убьёт врага, то умрёт сам, но у него больше нет сил даже для одного удара. — Прости меня, Михель. Я не должна была втягивать тебя в эту войну. Я не должна была брать тебя с собой, когда ты лежал на сырой земле с запёкшимися губами и с молотом, который ты сжимал даже в беспамятстве, потому что не мог его отпустить. Я не должна была позволять тебе идти за мной. Я — проклятая, Михель. Все, кто идёт за мной, умирают. Мой муж. Мои генералы. Мои рыцари. Ты будешь следующим. Я знаю это. Я всегда это знала. Но я всё равно надеялась, что на этот раз будет по-другому. Что боги, если они существуют, сжалятся надо мной хотя бы один раз. Что Дракон, если он не спит, посмотрит в мою сторону и скажет: «Довольно, Изабель, ты достаточно страдала, я дам тебе

этого кузнеца, пусть он останется жив, пусть он будет твоим напоминанием о том, что мир состоит не только из пепла и крови». Но боги молчат. Дракон спит. Или его нет. Или он есть, но ему всё равно. А мне не всё равно. Но это ничего не меняет.

— Не извиняйтесь, миледи, — сказал я, и я сжал рукоять молота так сильно, что мои костяшки побелели, как черепа в стене, но черепа были мёртвыми, а мои кости — живыми, и в этой жизни было что-то, что не давало мне упасть, не давало мне сломаться, не давало мне заплакать, хотя мне очень хотелось заплакать, потому что я никогда не был героем — я был кузнецом, и герои, наверное, не плачут, а кузнецы плачут, когда обжигают руки, когда раскалённый уголь падает на ногу, когда ломается самый любимый молот, которым ты ковал двадцать лет и который знает твою руку лучше, чем ты сам. — Вы не втягивали меня. Я сам пошёл. Я сам встал с земли, когда вы плюнули мне в лицо, и пошёл за вами. Я сам взял молот, когда вы разрубили демона пополам, и пошёл за вами в Лисьи Норы. Я сам сказал «да», когда вы спросили, пойду ли я с вами к гномам. Я сам вызвался в заложники, когда Гарм спросил, кто будет платить за вашу свободу. Я сам. Всё сам. Вы не виноваты. Не в чем винить. Не из-за чего просить прощения.

— Сам, — повторила Изабель, и её губы дрогнули — не в улыбке, нет, в чём-то другом, в том, что бывает у людей, когда они хотят заплакать, но не могут, потому что слёзы кон-

чилились, выплаканы все до последней, и осталась только сухая, горячая пустота, которая жжёт изнутри хуже, чем любой огонь. — Ты сам, Михель. Ты всегда сам. Наверное, поэтому ты ещё жив. Те, кто ждёт, когда за них решат другие, умирают первыми. А ты решаешь сам. И поэтому ты — последний. Последний, кто идёт за мной. Последний, кого я могу потерять.

Она повернулась и пошла к выходу, не попрощавшись с советом, не взглянув на гномов, не кивнув Эллане. Она просто пошла — устало, тяжело, как ходят люди, которые несут на своих плечах груз, слишком тяжёлый для одного человека, но нести больше некому, и если они упадут, груз упадёт вместе с ними, и тогда уже никто не поднимет его, потому что груз слишком велик даже для десяти человек, а для одного — тем более.

Гарм посмотрел на меня, и в его чёрных глазах мелькнуло что-то похожее на уважение — такое же редкое, как хороший клинок в руках плохого солдата. «Идём, кузнец, — сказал он, и его голос был тише, чем обычно, и в этой тишине не было угрозы — была усталость человека, который видел слишком много заложников, слишком много Звёзд, слишком много взрывов и слишком много пустых глазниц, которые теперь смотрели со стен этого зала и ждали, когда он приведёт нового — того, кто станет следующим. — Пора в Кузницу Клятв. Не бойся. Это быстро. И почти не больно. По крайней мере, первые несколько секунд».

Я пошёл за ним, и мои ноги были тяжёлыми, как чугунные гири, которые вешают на ноги утопленникам, чтобы они не всплыли, чтобы лежали на дне и гнили, не тревожа живых своим видом. Я шёл и думал о бабушке, о её словах, о том, что самое страшное — не смерть, а то, что ты мог сделать больше, но не сделал. И я надеялся, что сделал достаточно. Что моей жизни — моей короткой, грязной, нелепой жизни кузнеца из сожжённой деревни — хватит, чтобы Изабель добралась до гномов, получила големов, разбила демонов и, может быть, вернула своего мужа, или не вернула, но хотя бы отомстила за него, а потом, через много лет, когда всё закончится, она вспомнит того самого кузнеца, который согласился на Звезду Торгаля, потому что не умел говорить «нет», когда речь шла о том, чтобы защитить тех, кто слабее. Или тех, кто просто оказался рядом. Или тех, кто плюнул ему в лицо, когда он не мог говорить. Или тех, кто назвал его своим кузнецом, хотя он был просто крестьянином с молотом.

Я шёл и сжимал молот. И не смотрел на черепа в стене. Потому что если я посмотрю на них, я увижу своё будущее. А своё будущее я предпочитал не знать. Будущее — это то, что случается, когда ты занят другими делами. Например, когда ты куёшь железо. Или когда ты закрываешь кого-то от копья своим телом. Или когда ты идёшь в Кузницу Клятв, чтобы вживить в своё тело проклятие, которое может убить тебя в любой момент, если ты перестанешь верить в то, что вернёшься.

А я верил. Я должен был верить. Потому что если я перестану верить — звезда взорвётся. И тогда от меня не останется даже черепа для стены. Останется только пятно на камне и воспоминание в голове у Гарма: «А был тут один кузнец. Согласился на Звезду. Не выдержал. Взорвался. Жалко. Хороший был кузнец. Кочергой демона убил».

— Мы идём, — сказал Гарм, открывая дверь в темноту.

И я пошёл.

ЛЕТОПИСЬ ОРДЕНА ГРИФОНА

(Фрагмент свитка CLXVI, написанный дрожащей рукой на обрывке пергамента, пропитанного жиром и копотью)

«Я, Годфри, старый летописец, который уже не верит в летописи, но всё ещё верит в перо, чернила и бумагу, потому что бумага терпит всё, даже правду, а правда, как известно, нуждается в бумаге больше, чем бумага нуждается в правде, — сегодня я пишу дрожащей рукой, потому что моя рука дрожит с тех пор, как мы вошли в Торгаль, и я понял, что горы — это не просто камни, а живые существа, и они смотрят на нас, оценивают нас и решают, оставить ли нас в живых или превратить в черепа для своих стен.

Кузнец ушёл с гномами. Его увели в Кузницу Клятв — туда, куда не пускают чужаков, даже если эти чужаки — послы эльфийских князей или вдовы королей. Я слышал его крики. Крики доносились из глубины горы — приглушённые толщей камня, но такие же человеческие, как мои собственные, как мои собственные крики, когда я пытаюсь заснуть, а

перед глазами стоят лица тех, кого я не спас, кого не успел, кого не захотел спасать, потому что был слишком занят своими летописями, своими перьями, своими чернилами. Я не знаю, выживет ли он. Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что вера в сталь сильнее веры в драконов, потому что сталь можно пощупать, сталь можно нагреть, сталь можно ударить молотом, и она зазвенит, и в этом звоне будет правда — не та правда, которую говорят священники с амвона, а та, которую чувствуют кузнецы в своих наковальнях, когда металл наконец поддаётся и принимает нужную форму, и ты понимаешь, что мир не так уж плох, если в нём есть что-то, что можно изменить ударом молота.

Эльфийская княжна, которая сидит в Торгале уже третий год, — странная женщина. Она не похожа на других эльфов, которых я видел в своей жизни: в ней нет той надменной печали, которая делает эльфов красивыми, как статуи, и холодными, как лёд, и далёкими, как звёзды. В ней есть что-то гномье — жестокость, расчётливость, умение торговаться так, что ты отдаёшь последнюю рубаху и думаешь, что это ты обманул, а тебя обманули ещё до того, как ты открыл рот. Когда она смотрела на кузнеца — на этого грязного, неотёсанного парня с продранными локтями и с молотом, который висит у пояса, как подвешенный к потолку мертвец, — я заметил в её глазах... сочувствие. Или не сочувствие — что-то другое, что-то похожее на узнавание. Наверное, она тоже когда-то кого-то потеряла. Или её заставили смотреть, как

кто-то умирает, а она не могла помочь, потому что у неё не было молота, и не было веры, и не было ничего, кроме эльфийской красоты, которая в горах, среди гномов, стоит не больше, чем красивое перо в курятнике. Может быть, она видела в кузнеце того, кем была сама когда-то — отчаявшейся, но не сломленной, готовой продать себя в залог, лишь бы дать другим шанс на победу. А может быть, я просто старик, который видит то, чего нет, потому что ему хочется верить, что мир состоит не только из жестокости и торга, но и из чего-то ещё — из сочувствия, например, или из любви, или просто из обычного человеческого тепла, которое не даёт замёрзнуть, когда ты сидишь у костра посреди леса, а вокруг воют демоны, и ты не знаешь, будет ли завтрашний день, но почему-то всё равно засыпаешь, потому что устал бояться и решил, что если умрёшь, то хотя бы выспишься.

Завтра мы выходим к Лунным костям — так гномы называют перевал, который ведёт на равнину, туда, где демоны уже начали строить свою Бездну, вырывая ямы в земле и заливая их своей чёрной, вонючей магией, от которой трава умирает на корню, а вода становится кислой и жжётся, как кислота, если дотронуться до неё голой рукой. Гномы дали нам големов. Я видел их — огромных каменных тварей, ростом с двухэтажный дом, с глазами, горящими голубым светом, как кристаллы в стенах, и с руками, которые могут раздавить человека, как яблоко, не заметив этого. Големы движутся как люди — не как куклы на нитях, не как марионет-

ки, а как живые существа, которые дышат, думают, чувствуют, но не говорят. Я гладил одного по руке. Камень был тёплым — тёплым, как человеческая кожа, и под этим камнем я почувствовал пульс. Големы живут. Не так, как мы, но живут. И мне стало страшно. Потому что если камень может жить — значит, и мы можем умереть. Не просто перестать дышать, а превратиться в камень, в статую, в голема, который будет ходить и убивать, но не будет помнить, кем он был, кого любил, за что умер.

Станный мир, Годфри. Станный мир, где камень живёт, а люди умирают. Где кузнец становится заложником, а королева — просительницей. Где эльфы торгуются с гномами, а гномы вживляют в людей проклятия, и все называют это «честной сделкой», потому что другого слова нет, а если бы оно было, его бы, наверное, запретила церковь, как запрещает всё, что напоминает правду.

Я устал. Я старая, больная собака, которая уже не может бежать за обозом, но всё равно ковыляет, потому что если я остановлюсь, меня никто не подберёт — ни гномы, ни люди, ни эльфы, ни даже демоны, потому что демонам не нужна старая, тощая собака с больными пальцами и мутными глазами. Им нужно мясо помоложе. Пожевать посочнее. Прокричать погромче перед смертью.

Кузнец, если ты читаешь это когда-нибудь — я буду молиться за тебя. Не знаю кому. Может быть, Дракону. Может быть, твоему молоту. Может быть, самому себе. Но я буду

молиться. Потому что если ты выживешь — это будет значить, что мир не безнадежен. А если ты умрешь — я запишу твоё имя в свои летописи. И пусть оно останется там навсегда, даже если сама Империя рассыплется в прах, а демоны сожрут все книги, а гномы переплавят все памятники на гвозди. Твоё имя останется. Потому что я его запомнил. А то, что запомнил летописец, не может исчезнуть, даже если сам летописец превратится в череп на стене.

Годфри. Рукой, которая уже не слушается. Пером, которое уже не пишет. Но я пишу. Пока могу. Пока есть что писать. Пока есть ради кого писать»

ИНТЕРЛЮДИЯ II: ЛЕСНОЙ ШЁПОТ

(Лесной Союз, город И'Шель. Девять дней после вторжения.)

Эльфы не спят — по крайней мере, так говорят люди, которые видели эльфов только на картинках или на поле боя, и никогда не проводили с ними ночь у костра, чтобы понять, что спят они, но сны их отличаются от человеческих так же сильно, как лесной ручей отличается от сточной канавы. Человек во сне видит себя — своё прошлое, свои страхи, свои желания; он ворочается, стонет, просыпается в холодном поту и долго не может понять, где он и кто он, потому что его сны — это комната без окон, в которой стены двигаются, когда на них смотришь. Эльф во сне видит лес — не свой лес, который растёт вокруг него, и даже не лес, в котором он ро-

дился, а тот самый первый лес, из которого вышли все деревья, тот лес, который был ещё до того, как драконы научились дышать огнём, и люди научились бояться темноты, и гномы научились ковать железо. Во сне эльф становится деревом — его ноги прорастают корнями в землю, его руки превращаются в ветви, его волосы шелестят листвой, и он слышит, как под землёй, в глубокой, непроглядной черноте, корни шепчутся друг с другом на языке, который нельзя перевести на человеческий, потому что в человеческом языке нет слов для того, что передают корни — только хруст, шорох, давящая тишина и чувство, что ты не один, что под тобой кто-то есть, кто-то древний, голодный и очень терпеливый.

Королева Алира стояла на балконе своего дворца — деревянного, вросшего в гигантский дуб, который помнил ещё времена, когда драконы пели миру колыбельные, а люди жили в пещерах, и эльфы спускались с небес на серебряных лианах, чтобы научить их разводить огонь и не сжигать себя. Дворец не был построен — он вырос из земли по воле эльфийских магов тысячу лет назад, и каждую ночь он слегка менял свою форму, подстраиваясь под дыхание леса, под настроение королевы, под ветер, который дул с востока; говорят, что в этом дворце нет двух одинаковых комнат, и если ты заблудишься в коридоре, то можешь идти по нему вечно и никогда не выйти к той же двери, потому что коридор будет расти вместе с твоим страхом, расширяться, сужаться,

ветвиться, как корни дерева, которое хочет удержать добычу, чтобы переварить её медленно, по кусочкам, наслаждаясь каждым криком. Волосы Алиры были белыми, как берёзовая кора, которую стащили с дерева не дождавшись, когда она отпадёт сама; они спускались до пояса, и в них были вплетены живые цветы — белые, пахнущие мёдом и смертью, потому что цветы эти распускаются только раз в сто лет и увядают через три дня, и их увядание пахнет так же, как пахнет разложение старого тела в глубине болота, когда пузыри газа поднимаются на поверхность и лопаются с тихим, мокрым звуком. Её кожа была зелёной, как мох, который растёт на северной стороне старых дубов — не ярко-зелёной, а бледной, выцветшей, болезненной, как у растения, которое долго не видело солнца и начало гнить от корней к макушке. Её глаза были пустыми, как выжженное поле — без зрачков, без цвета, без единой искры жизни; в них можно было смотреть как в два глубоких колодца, и если смотреть долго, начинали казаться, что на дне этих колодцев что-то шевелится — не вода, не камни, а нечто живое и безглазое, что чувствует твой взгляд и медленно поднимается вверх, чтобы посмотреть на тебя в ответ.

Она не спала уже три ночи подряд — не потому, что не могла, а потому, что боялась закрывать глаза. Последний раз, когда она уснула, ей приснился огонь — не тот огонь, который жжёт дома и пожирает деревни, потому что такие пожары эльфы умеют останавливать, заставляя деревья рассту-

паться перед пламенем, как расступается толпа перед королевским глашатаем. Ей снился другой огонь — тот, который жжёт корни, который проникает в землю, пробирается в самую глубину, туда, где лежат древние, забытые леса, погребённые под слоями глины, песка и времени, и жжёт их медленно, насквозь, от самого кончика самого тонкого корня до самой высокой ветки, которая когда-то касалась облаков, когда мир был молод и не знал слова «смерть». Ей снились демоны, которые не просто убивают — они переписывают реальность, как священники переписывают древние манускрипты, выскребая старые буквы и вписывая новые, чтобы никто не вспомнил, как было на самом деле; они заставляют деревья расти вниз, уходя корнями в небо, и ветвями в землю, и когда эльфы пытаются пройти сквозь такой лес, они проваливаются в кроны, запутываются в ветках, которые растут не вверх, а вниз, и умирают от удушья, потому что воздух в перевёрнутом лесу становится жидким и тяжёлым, как вода. Ей снилась вода, которая течёт вверх — по склонам холмов, по стволам деревьев, по волосам спящих эльфов, и когда она касается кожи, она не смачивает её, а выжигает, оставляя серые, безжизненные пятна, похожие на проказу, которая идёт изнутри и не лечится никакой магией, потому что магия Бездны всегда сильнее магии Света, когда Свет один, а Бездны — множество, и каждая демонская тварь носит в себе частицу той черноты, которая была до того, как драконы зажгли звёзды.

— Ваше величество, — раздался голос за спиной — тихий, почтительный, но в этой почтительности чувствовалась такая же дрожь, какая бывает в голосах людей, которые стоят на коленях перед палачом и просят не отрубать голову, а хотя бы задушить, потому что так быстрее и не так страшно. — Гонец из Торгаля. Он прибыл час назад, сменив трёх лошадей, и принёс вести, которые не терпят отлагательства.

Алира обернулась, и её платье зашелестело, как шелестят листья в лесу, когда по нему проходит не ветер, а нечто большее — дыхание самого леса, которое чувствуют только эльфы и иногда, в очень редкие ночи, люди с очень тонкой кожей и очень больными нервами. Перед ней стоял молодой эльф в зелёном плаще, расшитом серебряными листьями — каждые три дня он срывал их с дерева у входа во дворец и пришивал заново, потому что если листья не обновлять, они чернеют и начинают пахнуть гнилью, а запах гнили в присутствии королевы считается дурным тоном, за который могут вырвать язык, а могут и не вырвать — всё зависит от настроения Алиры, а её настроение в последние дни было таким же переменчивым, как погода в горах в сезон дождей, когда солнце светит, но дождь уже идёт, и ты не знаешь, что хуже: мокнуть под дождём или гореть под солнцем. Его лицо было спокойным — таким спокойным, каким может быть лицо человека, который научился не показывать эмоций, потому что любой страх, любая радость, любая надежда могут быть использованы против него; но его руки дрожали —

мелко, противно, как дрожат листья осины на ветру, и эта дрожь была видна даже сквозь длинные рукава плаща, даже сквозь серебряные браслеты на запястьях, которые должны были успокаивать магией Порядка, но не успокаивали, потому что магия Порядка не действует на страх, порождённый знанием. Эльфы не дрожат — во всяком случае, так считают люди, которые видели эльфов только на гобеленах и в рыцарских романах, где эльфы всегда прекрасны, безмятежны и слегка надменны, как коты, которые наелись сметаны и теперь смотрят на мышей с высоты своего сытого величия. Если эльф дрожит — значит, случилось что-то настолько страшное, что даже тысячелетняя выдержка не спасает, и все их медитации, все их ритуалы, вся их вера в то, что лес защитит их от любой беды, рассыпаются в прах, как рассыпается старый гриб, если наступить на него ногой — легко, нечаянно, просто проходя мимо.

— Говори, — приказала Алира, и её голос прозвучал как треск сухой ветки под ногой оленя — негромко, но отчётливо, и в этом треске было столько власти, что молодой эльф невольно склонил голову ещё ниже, почти касаясь лбом пола, хотя пол был деревянным, и на нём не было ни ковров, ни циновок, только вековая пыль, которую не выметали столетиями, потому что дворцовые слуги боялись потревожить духов, живущих в этой пыли — духов, которые помнили имена всех королей, всех войн, всех предательств и всех смертей, случившихся в этих стенах.

— Гномы заключили сделку с людьми, — начал гонец, и его голос то взлетал, то падал, как камни, сбрасываемые с обрыва, которые сначала летят быстро, а потом медленнее, потому что воздух становится плотнее, а расстояние до дна всё ещё слишком велико, чтобы разглядеть, что там, внизу — вода, камни или просто темнота. — Изабель Вдова получила от Торгалья пятьдесят големов, двадцать огнестрелов и один отряд Каменных Стражей. Гномы согласились на сделку только после того, как получили залог — живой залог, человека, который останется в Торгале на месяц, пока Изабель будет воевать на севере. Этого человека зовут Михель, он кузнец, и он... — гонец запнулся, облизал губы — сухие, потрескавшиеся от долгой дороги и от страха, который он нёс в себе как ношу, — он тот самый человек, который убил демона кочергой. Его вживили Звезду Торгалья — проклятие, которое взорвётся, если Изабель предаст или не вернётся вовремя, или если сам кузнец усомнится в том, что делает.

— Слезу? — Алира шагнула вперёд — медленно, плавно, как плывёт корень под землёй, пробираясь между камней, не зная, где кончится его путь и кончится ли вообще, или он будет расти вечно, питаясь соками мёртвых деревьев, которые уже никто не помнит и никто не назовёт по имени. — Та самую? Ту, которую эльфы спрятали три тысячи лет назад, когда поняли, что люди слишком глупы, чтобы владеть таким оружием? Ту, которую ковали наши мастера на заре времён, вливая в сплав слёзы павших драконов, потому что

только драконья печаль может закрыть дверь в Бездну? Ту, которая была утеряна, когда Империя пала, и которую все считали легендой, мифом, сказкой для детей, которые боятся темноты?

— Да, ваше величество, — ответил гонец, и его голос стал тише — таким тихим, каким может быть только голос человека, который сообщает королеве то, что она не хотела бы слышать, но обязана знать, потому что незнание убивает быстрее, чем правда, даже самая горькая. — И ещё, ваше величество... там был кузнец. Тот самый, который убил демона кочергой. Его зовут Михель. Он из северной деревни, которую сожгли демоны. Он не учился в академиях, не читал манускриптов, не молился драконам. Он просто взял кочергу — раскалённую, красную, из простого железа, без рун, без благословений, без магии, — и ткнул ею демону в глаз. И демон умер.

Алира замерла. На мгновение её пустые глаза — те самые, в которых можно было смотреть как в два глубоких колодца — зажглись чем-то похожим на жизнь. Искрой. Вспышкой. Тем, что у людей называется надеждой, а у эльфов — «предчувствием перемен», потому что эльфы не верят в надежду — они верят в циклы, в повторения, в то, что всё, что случилось, уже случилось раньше, и всё, что случится, случится снова, но кузнец, убивший демона кочергой, — это не укладывалось ни в один цикл, ни в одно пророчество, ни в одно из тех учений, которые хранились в эльфийской библиотеке

в свитках, написанных на языке, который даже сами эльфы уже забывали, потому что слишком редко его использовали.

— Кочергой, — повторила она, и её голос стал ниже, плотнее, как становится ниже и плотнее голос у человека, который повторяет что-то, чтобы запомнить, чтобы вбить в память, чтобы никто не мог потом сказать: «Вы забыли, ваше величество, вы не так поняли, вы не так слышали». — Кочергой убить демона... — Она покачала головой, и её белые волосы зашевелились, как ветви под ветром, и живые цветы в них распустились ещё сильнее — на секунду, на выдох, — а потом снова съёжились, потому что цветы тоже чувствуют страх, и когда королева боится, цветы закрываются, чтобы не видеть того, что будет дальше. — Это невозможно. Только святое оружие, освящённое в соборах Дракона Света, или сильная магия, или... или сплав, который не встречается в природе, — могут убить порождение Бездны. А железо... железо — это просто железо. Оно не святое. Оно не магическое. Оно просто — железо.

— Гномы говорят, что железо было раскалено докрасна, — сказал гонец, и он поднял глаза — впервые с начала разговора, — и что кузнец ударил в глаз. Глаз для демона — это портал. Портал, через который он получает силу Бездны. Если портал закрыть — демон теряет связь с Бездной. И становится просто... мясом. А мясо можно убить любым железом. Даже кочергой.

— Портал, — прошептала Алира, и она отвернулась к ле-

су — к той его части, которая была видна с балкона: бескрайнему морю зелени, в котором тонули звёзды, луна и все мысли, которые она когда-либо имела. — Глаз — это портал. Закрывать портал железом... — Она замолчала надолго — так надолго, что гонец начал переминаться с ноги на ногу, и только эльфийская дисциплина не позволила ему спросить: «Ваше величество, вы меня слышите?» — потому что спрашивать королеву, слышит ли она тебя, считалось оскорблением, за которое можно было лишиться не только языка, но и ушей, и пальцев, и даже самой жизни, если королева была в плохом настроении. — Этот кузнец, — сказала она наконец, и её голос стал твёрдым, как застывшая смола, — он опасен. Не потому, что силён — любой демон сильнее любого человека, даже самого тренированного, даже самого закалённого, даже того, кто убил сотню демонов и больше не боится их. А потому, что он нашёл способ убивать демонов без магии. Он нашёл способ убивать демонов железом — простым, дешёвым, доступным железом, которое можно добыть в любой кузнице. Если другие люди узнают... если это знание распространится... если каждый кузнец, каждый солдат, каждый крестьянин с кочергой в руке поймёт, что демонов можно убивать не молитвой, не благословением, не магией, а просто горячим железом, всаженным в глаз... — Она запнулась, и её зелёная кожа стала ещё зеленее — не от болезни, от гнева, от того древнего, древесного гнева, который эльфы называли «памятью корней», потому что корни тоже гнева-

ются, когда их рубят, но их гнев медленный, невидимый, но от этого не менее страшный. — Тогда священники потеряют власть. Тогда церковь потеряет смысл. Тогда люди поймут, что драконы им не нужны. Что святая вода — это просто вода. Что молитва — это просто слова. Что единственное, что спасает — это железо и умение им пользоваться.

— Вы боитесь этого, ваше величество? — спросил гонец, и он тут же пожалел о своём вопросе, потому что королева повернулась к нему, и её пустые глаза стали ещё пустее — настолько пустыми, что в них можно было увидеть собственное отражение, собственный страх, собственную смерть, подходящую всё ближе и ближе, неслышно, как крадётся кошка по мягкому ковру, и ты не знаешь, что она уже здесь, пока её зубы не сомкнутся на твоей шее.

— Я боюсь не этого, — ответила Алира, и её голос был спокоен — так спокоен, как может быть спокоен ураган в самом центре своего вращения, когда ветер дует со всех сторон одновременно, но в центре — тишина, и ты стоишь в этой тишине и понимаешь, что это не мир, а затишье перед тем, что разрушит всё. — Я боюсь того, что если люди узнают, как убивать демонов железом — они перестанут бояться. А страх — это единственное, что держит их в узде. Страх перед Бездной. Страх перед церковью. Страх перед драконами. Страх перед эльфами. Если страха не будет — люди начнут убивать. Не демонов. Друг друга. Они всегда так делали, когда теряли страх. И тогда войны будут страшнее, чем любое

вторжение Бездны. Потому что демонов можно убить. А людей... людей нельзя. Людей слишком много. И они слишком хорошо умеют ненавидеть.

Она замолчала, и в этой тишине — плотной, тёплой, живой, как летняя ночь в лесу, когда даже воздух кажется щупальцем, которое тебя обнимает и душит понемногу, — го-нец понял, что он должен уйти, но не мог пошевелиться, потому что королева не сказала: «Ступай», а боялся уйти без разрешения, и так и стоял, как статуя, бледный, с дрожащими руками и с глазами, которые уже видели слишком много, чтобы верить в то, что завтрашний день будет лучше, чем вчерашний.

— Передай Эллане, — сказала Алира, и её голос стал мягче — таким мягким может быть только голос королевы, которая уже всё решила и теперь просто надевает на кожу маску заботы, чтобы её подданные не видели, что внутри у неё только пустота, холод и железная воля, которую она называет «долгом», а эльфы называют «путём листа», потому что лист падает с дерева не потому, что хочет, а потому, что так заведено, и у него нет выбора, кроме как падать и гнить, удобряя корни того самого дерева, которое его сбросило. — Пусть присмотрится к этому человеку. Не вмешивается — просто наблюдает. Если он действительно может убивать демонов железом — мы должны знать, как он это делает. Не потому, что я хочу учиться у людей — в моих жилах течёт кровь древнее, чем все их империи, вместе взятые, и даже вместе

с теми, которые ещё не родились. А потому, что это знание может спасти нас, когда Изабель проиграет. Или когда победит. Или когда всё пойдёт не так, как мы планировали, а оно всегда идёт не так, как мы планируем, потому что мир, к сожалению, не читает наших сценариев.

— А если он откажется говорить? — спросил гонец, и его голос прозвучал глухо, как звук камня, упавшего в болото — не всплеск, а хлюпанье, мерзкое, липкое, от которого хочется вытереть уши и никогда больше не слышать этого звука.

— Тогда пусть Эллана сделает так, чтобы он захотел говорить, — Алира повернулась к лесу, и её белые волосы разместились по плечам, как крона дерева, которое пытается поймать последний луч заходящего солнца, хотя знает, что солнце всё равно сядет, и ночь будет длинной, и в этой ночи не будет ни одного живого звука, только крики умирающих и шёпот корней, которые уже тянутся к ним, чтобы забрать то, что осталось после смерти. — У эльфов есть свои способы. Не такие грубые, как у гномов — гномы любят железо и боль, они думают, что через боль можно всё вытянуть, как через отверстие в шкуре вытягивают гной. Но мы более... изящны. Более... убедительны. Мы умеем ждать. Мы умеем шептать. Мы умеем заходить со спины, когда ты смотришь в другую сторону. Мы умеем делать так, чтобы человек сам рассказал нам всё, что мы хотим знать, и даже то, чего мы не хотим, но всё равно узнаём, потому что правда всегда всплывает, как труп утопленника, если привязать к нему достаточно боль-

шой камень, а камень — это, простите за цинизм, всего лишь вопрос времени и терпения.

Гонец поклонился — низко, почти касаясь лбом пола, — и исчез так же бесшумно, как появился, растворившись в темноте коридора, который сразу же изменил свою форму, как только он вошёл в него, и теперь тот коридор вёл в другую часть дворца, туда, куда гонец и не собирался идти, но коридор всё равно вёл его, потому что дворец Алиры был живым, и он решал сам, кому куда идти, и спорить с ним было бесполезно — стены могли раздвинуться и пропустить тебя, а могли сомкнуться и раздавить, как пресс раздавливает виноград, и тогда станешь ты не вином, а просто красным мокрым пятном на дереве, и никто не вспомнит твоего имени, потому что в этом дворце имена вообще не любят вспоминать — здесь ценят только дела, и если ты что-то сделал, то и ладно, а не сделал — и не надо было родиться.

Алира осталась одна на балконе — королева без королевства, эльфийка без надежды, женщина, которая видела столько смертей, что уже перестала различать живых и мёртвых, потому что те и другие смотрят на неё одинаково — пустыми глазами, полными того, что она когда-то называла «жизнью», а теперь называет «ожиданием конца». Она смотрела на лес — на свои владения, которые скоро могли стать пеплом, если демоны прорвутся, и на пепле вырастет что-то новое, но это новое не будет эльфийским, потому что эльфы не умеют расти из пепла — они умеют расти только из зем-

ли, из корней, из того, что было до них, а когда земля становится пеплом, корни умирают, и эльфы умирают вместе с ними, тихо, без криков, без жалоб, просто падают на землю и гниют, как гниют деревья, которые слишком долго стояли под дождём и не чувствовали солнца.

— Драконы, — прошептала она, и её голос был тихим, как шорох листьев, — вы слышите меня? Если вы есть — если вы когда-то были и не умерли, а просто ушли в туман, как уходят старики, чтобы не обременять молодых, — помогите. Не мне — мне уже не помочь, я слишком стара, слишком сожжена изнутри, слишком близка к тому, чтобы превратиться в одно из тех деревьев, которые стоят посреди леса и не могут умереть, но и не могут жить, потому что их корни сгнили, а стволы всё ещё держатся, и каждый новый ветер для них — пытка, каждое прикосновение дождя — ожог. Помогите тем, кто идёт за мной. Тем, кто ещё не устал бояться. Тем, кто верит, что железо может убить демона, а кузнец может стать героем. Если вас нет — если вы были только сном, который приснился первым эльфам, когда они только вышли из воды и ещё не знали, что такое боль, — тогда хотя бы не мешайте. Пусть мы умрём сами. Своей смертью. Не от вашего безразличия. Не от вашего молчания. А просто — потому что так должно быть. Потому что всему приходит конец. И лесам. И королевствам. И даже тем, кто когда-то пел миру колыбельные, когда мир был маленьким и не знал, что значит «война».

Лес молчал. Ни один лист не шелохнулся. Ни одна ветка не скрипнула. Ни один зверь не издал звука. Даже птицы, которые обычно пели даже ночью, потому что в Лесном Союзе птицы поют всегда — проклятые существа, которым всё равно, день на дворе или ночь, война или мир, — даже птицы молчали. И это молчание — общее, всеобщее, полное — было хуже любого крика, любой угрозы, любого предупреждения. Потому что когда лес молчит, он не боится. Он ждёт. А когда лес ждёт — значит, он уже всё решил. И это решение не в пользу тех, кто стоит на опушке и надеется на чудо.

ГЛАВА ПЯТАЯ: ЭЛЬФИЙСКАЯ СТРЕЛА

(Двенадцать дней после вторжения. Лесной Союз, Восточная опушка.)

Лес встретил нас тишиной — не той тишиной, которая бывает в горах, когда пустота давит на уши, как вода на глубине, и ты слышишь биение собственного сердца и думаешь: «А нормально ли это — так громко, так настойчиво, как будто сердце пытается вырваться из груди и убежать туда, где тише?» В горах тишина была пустой — холодной, равнодушной, как взгляд человека, который смотрит на тебя и не видит, потому что ты для него — не человек, а просто одно из движущихся препятствий на пути к цели. В лесу тишина была другой — плотной, густой, вязкой, как смола, которая выступает на стволах старых сосен, и если ты протянешь руку, ты не просто не услышишь ничего — ты почувствуешь, как эта тишина обволакивает твои пальцы, затекает под ног-

ти, поднимается выше, к запястью, к локтю, к плечу, и вот ты уже стоишь по пояс в тишине, как в болоте, и понимаешь, что если сделаешь ещё один шаг, тишина сомкнётся над головой, и ты никогда уже не вынырнешь, потому что тишина — это вода, и в этой воде нет воздуха, только плотное, тяжёлое молчание, которое заполняет лёгкие, и ты пытаешься дышать, но дыхания нет, потому что тишина не дышит, она только ждёт.

— Эльфы не любят шума, — прошептал сэр Альберих, когда наш отряд втянулся в лесную чащу, и я заметил, что его изуродованное лицо стало ещё более осторожным, ещё более сосредоточенным, чем обычно — как у человека, который идёт по минному полю и знает, что одна неверная ставка — и от него останется только воспоминание и пятно на земле, которое дождь смоет через три дня, и никто даже не поставит на этом месте камень, чтобы отметить, что здесь погиб человек. — Они вообще никого не любят — ни людей, ни гномов, ни даже самих себя, если подумать. Но шум — особенно. Шум для них — это не просто звук. Шум — это оскорбление. Это вторжение. Это когда ты врываешься в их дом без приглашения и начинаешь стучать молотом по стенам, требуя, чтобы они тебя выслушали. Эльфы могут простить многое — смерть своего родича, например, если она была быстрой и без страданий; или кражу золота, если оно было не очень ценным и ты вернул его с извинениями. Но шум они не прощают никогда. Потому что шум мешает им

слышать лес. А лес для них — всё. Бог, мать, отец, дом, любовник, ребёнок, судья, палач. Всё сразу. Если лес говорит — эльфы молчат. Если лес молчит — эльфы плачут. А сейчас лес молчит. Слышишь? Молчит. Значит, эльфы или уже плачут, или готовятся к чему-то такому, от чего у тебя волосы на голове встанут дыбом, даже если ты лысый, как колено.

— Почему они так любят лес? — спросил я, и мой голос прозвучал громко — слишком громко для этой тишины, и мне стало стыдно, как будто я наступил кому-то на большую мозоль и сделал вид, что не заметил, хотя заметил, конечно, заметил, просто было неудобно извиняться.

— Потому что лес — их память, — ответил сэр Альберих, и его вывернутый глаз блеснул в полумраке, как блестит уголь, когда на него падает свет, но он ещё не начал гореть, а только отражает чужое тепло, не имея своего. — Лес помнит всех эльфов, которые когда-либо жили. Каждое их движение. Каждое слово. Каждую мысль. Когда эльф умирает, его тело возвращается в лес, корни забирают его плоть, а дерево, под которым он похоронен, вырастает выше и сильнее, и его листья шелестят голосом умершего — не словами, конечно, а чем-то, что эльфы называют "эхом души". Это не бессмертие, но что-то близкое к нему. Поэтому эльфы не строят городов из камня, как люди, и не вырубают гор изнутри, как гномы. Они растут вместе с лесом — медленно, незаметно, но необратимо. И когда лес молчит — эльфы теряют связь с мёртвыми. А без связи с мёртвыми они становятся... слабее.

Уязвимее. Более... человечными.

Мы шли уже второй день от ворот Торгаля, и гномья крепость осталась позади — скрылась за перевалом, за туманом, за тем чувством, которое возникает, когда ты уходишь из места, где тебя могли убить, но не убили, и ты не знаешь, радоваться этому или бояться, потому что впереди, возможно, ждёт то, что убьёт тебя точно, а не просто пригрозит. От гномов мы получили обещанное — пятьдесят големов, каменных, бесстрастных, которые шагали за нами без единого звука, и если смотреть на них со стороны, можно было подумать, что это не армия, а просто камнепад, который замер в воздухе и ждёт команды, чтобы упасть; двадцать огнестрелов — длинных железных труб на деревянных ложах, с фитилями, которые дымили даже в сырости, и с ядрами, которые лежали в специальных ящиках, обитых войлоком, чтобы не звенели и не выдали наше присутствие раньше времени; и один отряд Каменных Стражей — двадцать гномов в броне из базальта, с топорами, которые светились голубым светом магии Порядка, и с лицами, которые не выражали ничего, кроме той древней, каменной уверенности, которая появляется у тех, кто знает, что умрёт, но не знает, когда, и поэтому не боится смерти, потому что смерть — это просто перерыв в работе, после которого можно отдохнуть, а после отдыха — снова в бой, если, конечно, там, за гранью, есть бои, и есть работа, и есть то, ради чего стоит просыпаться каждое утро.

Звезда в моей груди — Звезда Торгаля — тихо пульсиро-

вала, как второе сердце, и этот пульс я чувствовал не только в груди, но и в горле, в зубах, в кончиках пальцев, как будто внутри меня поселилось что-то маленькое, живое и очень голодное, и оно питалось моими мыслями, моими страхами, моими надеждами, и если я перестану думать о том, что должен выжить, если я позволю себе усомниться хотя бы на секунду — это что-то проснётся, потянется, разбухнет и разорвёт меня изнутри на куски, такие мелкие, что даже гномы не смогут собрать их в один мешок, чтобы отдать Изабель со словами: «Вот ваш кузнец, миледи, мы его вернули, как обещали, правда, в несколько другом состоянии». «Не солги себе», — сказал Гарм, когда вживлял звезду, и я запомнил эти слова на всю оставшуюся жизнь, которая, по расчётам гномов, должна была составить от одного дня до одного месяца, в зависимости от того, как быстро я начну сомневаться и как сильно.

Элана шла впереди, рядом с Изабель, и я видел, как эльфийская княжна изменилась с тех пор, как мы покинули Торгаль: здесь, в лесу, она стала другой — не той расчётливой, холодной женщиной, которая сидела в гномьем совете и торговалась о големах, как купец торгуется о цене на шерсть, зная, что продавец без неё не уйдёт, а покупатель без неё не останется, поэтому можно назвать любую цену, и всё равно кто-то уступит, потому что уступать — это единственный способ договориться, когда оба не хотят ни уступать, ни договориться. Здесь, в лесу, она стала мягче — её движения

стали плавнее, её взгляд — рассеянное, её дыхание — глубже, как будто она впитывала лес кожей, лёгкими, глазами, и лес отвечал ей тем же — шёпотом листьев, треском веток, запахом прелой листвы и ещё чем-то, что я не мог уловить, но чувствовал всем телом: связью, нитью, пуповиной, которая соединяла эльфийку с этим лесом, и если бы кто-то перерубил эту нить, Эллана, наверное, умерла бы на месте, как умирает дерево, у которого подрубили корни, и оно ещё стоит, но уже не живёт, и даже ветер не может его свалить, потому что оно уже мёртво, а мёртвое не падает — оно просто гниёт стоя, пока не рассыплется в труху, которую разнесёт по всему лесу, и из этой трухи вырастут новые деревья, но это будут уже другие деревья, не помнящие того, что было до них.

Она смотрела по сторонам, прислушивалась к тому, чего мы, люди, не могли слышать, иногда останавливалась, приседала на корточки и касалась земли пальцами — осторожно, почти нежно, как касаются щеки любимого человека, когда он спит, и ты не хочешь его будить, но не можешь удержаться от прикосновения, потому что любишь его так сильно, что даже сон не может защитить его от твоей любви, и от этого прикосновения он просыпается, но не злится, а улыбается и говорит: «Ты здесь, я знал, что ты придёшь».

— Что она делает? — спросил я у сэра Альбериха, когда мы в очередной раз остановились, и Эллана замерла с закрытыми глазами, положив ладони на землю, и её зелёное платье

слилось с мхом, так что если бы я не знал, что она здесь, я бы, наверное, прошёл мимо, не заметив, приняв её за кочку или за куст, или за что-то ещё, что в лесу кажется живым, но на самом деле просто стоит на месте и ждёт, когда его съедят или когда оно само вырастет до неба и упадёт, раздавив тех, кто не успел убежать.

— Слушает корни, — ответил сэр Альберих, и его вывернутый глаз блеснул в темноте, как блестит нож, которым режут хлеб на ужин, когда за окном уже ночь, а утром снова идти в бой, и хлеб этот может оказаться последним в твоей жизни, поэтому ты жуёшь его медленно, стараясь запомнить вкус, запах, ощущение мякиша на языке, потому что это всё, что останется от тебя, когда ты умрёшь — память о том, как ты жевал хлеб и думал о том, что завтра, возможно, не будет ни хлеба, ни тебя, ни даже того, кто испёк этот хлеб, потому что демоны не разбирают, кто пекарь, а кто солдат — для них все мы просто еда, одни посочнее, другие пожестче, но все одинаково съедобные, если хорошо прожарить на огне Бездны. — Эльфы говорят, что земля помнит всё — каждый шаг, каждое падение, каждую смерть, каждую каплю крови, которая пролилась на неё за последние десять тысяч лет, и даже больше, потому что земля не ведает времени, как не ведают времени камни в горах, и для неё десять тысяч лет — это как для нас одно мгновение, короткий вздох между ударом молота и звоном наковальни. Если ты умеешь слушать землю — ты можешь узнать, кто прошёл здесь, когда

прошёл, куда пошёл, и даже то, о чём он думал, когда шёл, потому что мысли тоже оставляют след — не такой явный, как след сапога, но если знать, как смотреть, можно прочитать всё, от страха до надежды, от любви до ненависти.

— И что она слышит сейчас? — спросил я, глядя на Эллану, которая вдруг вздрогнула — мелко, противно, как вздрагивает человек, когда ему на спину капает ледяная вода, и он не может понять, откуда она капает, потому что сверху только небо, а небо, кажется, не собирается плакать.

— Не знаю, — сказал сэр Альберих, и его голос стал тише, чем обычно, как будто он тоже боялся того, что может услышать Эллана через землю, через корни, через ту древнюю, вековую память, которая живёт под нашими ногами и ждёт, когда мы уйдём, чтобы снова заговорить на своём языке, непонятном нам, но очень понятном тем, кто умеет слушать. — Но смотри — она побелела.

Действительно, Эллана побледнела — её и без того бледное эльфийское лицо стало белым, как берёзовая кора, которую только что содрали с дерева, и она ещё не успела потемнеть на воздухе, не успела покрыться трещинами, не успела стать тем, чем должна стать — просто белой, чистой, почти прозрачной, как бумага, на которой ещё ничего не написано, но уже чувствуется, что скоро на ней напишут что-то очень важное, от чего будет болеть сердце, даже если ты не умеешь читать.

— Демоны прошли здесь, — сказала она, поднимаясь с

колен, и её голос был глухим, как звук камня, упавшего в сухой колодец, — глухим и обречённым, как голос человека, который уже знает, что случится дальше, но всё равно должен рассказать об этом другим, потому что если он промолчит, никто не узнает правды, а без правды невозможно победить, даже если правда эта горькая, как полынь, и противная, как парное молоко, в которое упала муха. — Три дня назад. Их было много. Несколько десятков — может быть, сорок, может быть, пятьдесят. Я не могу сосчитать точно, потому что они шли не как люди — не в ногу, не строем, не колонной, а как стая волков, которая обходит ловушку, даже не видя её, просто чуя запах железа и горячей крови. Они двигались к северу. Туда, где Лунные кости — перевал, через который мы должны пройти, чтобы выйти к равнине, где стоит их армия и где Бездна уже начала разверзаться, как рана, которую никто не лечит, только ковыряют пальцами, делая её глубже и грязнее.

— К Лунным костям, — сказала Изабель, и её голос был спокойным — слишком спокойным для женщины, которая знает, что её ждёт впереди, но не может повернуть назад, потому что позади только пепел и пустота, и возвращаться туда — значит признать, что всё было зря, что все смерти, все потери, все ночи без сна и дни без пищи были напрасны, а напрасные страдания — это самое страшное, что может случиться с человеком, потому что если ты страдал напрасно, то ты не герой, не мученик, не избранный — ты просто ду-

рак, который не сообразил вовремя, что лучше было умереть сразу, чем тащиться за королевой без королевства, за армией без солдат, за кузнецом с проклятием в груди, который, возможно, не дойдёт даже до первого боя.

— Да, — Эллана посмотрела на неё, и в её пустых эльфийских глазах — тех самых, без зрачков, которые люди всегда считали признаком жестокости или, наоборот, мудрости, но на самом деле это был просто признак того, что эльфы видят мир иначе, не через тени, как мы, а через свет, который отражается от всего — от травы, от камней, от лиц живых и мёртвых, — мелькнуло что-то похожее на страх, но не тот страх, который заставляет бежать, а тот, который заставляет сжимать оружие крепче и смотреть туда, откуда придёт враг, не отводя взгляда, даже если веки уже сохнут, а глаза краснеют от напряжения. — Они знают, что мы идём. Они готовятся. Они будут ждать нас в ущелье, где мы не сможем развернуть големов, где огнестрелы ударят только раз, прежде чем демоны доберутся до нас вплотную, где каждый эльф, каждый человек, каждый гном будет драться за свою жизнь, и никто не придет на помощь, потому что тем, кто может помочь, — всё равно, кто победит, демоны или мы, для них это просто смена вывески, и они подождут в своих замках, за своими стенами, в своих лесах, пока мы не перебьём друг друга, а потом придут и заберут то, что осталось.

— У нас есть големы и огнестрелы, — сказала Изабель, и её голос стал твёрже, как сталь, которую я ковал в своей

кузнице, когда был уверен, что закалка прошла правильно, и клинок не сломается, даже если ударить им по камню.

— У них есть Кшиш, — ответила Эллана, и от этого имени — короткого, как удар ножом, — стало холодно, так холодно, что я поёжился, и Звезда в моей груди пульсировала быстрее, как будто она тоже боялась, хотя гномы уверяли, что звезда не боится ничего, кроме лжи и предательства, а страх — это не ложь и не предательство, это просто... страх, и его можно победить, если быть сильным, но я не был сильным, я был просто кузнецом с молотом и с проклятием в груди, и я боялся так, как не боялся даже когда бил демона кочергой, потому что тогда у меня не было времени бояться — у меня было только железо и ненависть, и этого оказалось достаточно.

Имя упало в тишину, как камень в колодец — глухо, тяжело, и тишина после этого падения стала ещё глубже, ещё плотнее, ещё более невыносимой, как будто кто-то накрыл нас всех одеялом из страха и сказал: «Лежите смирно, не дышите, может быть, он не заметит».

— Кшиш, — повторила я, и мой голос прозвучал чужим, как будто говорил не я, а кто-то другой, кто жил во мне и ждал своего часа, чтобы выйти наружу и сказать то, что я боялся сказать. — Кто это? Демон? Бес? Некромант? Что-то, что можно убить железом?

— Полководец Бездны, — ответила Эллана, и её голос стал тише, как будто она боялась, что Кшиш услышит её да-

же здесь, в лесу, за много миль от того места, где он, возможно, сидел в своём шатре, сплетённом из человеческих кож, и пил из черепа вино, смешанное с кровью, и смотрел на карту мира пустыми, как у неё самой, глазами, но только в его глазах не было пустоты — была тьма, такая древняя и густая, что свет гас, когда смотрел в неё, и даже эльфы отводили взгляд, потому что боялись, что тьма перетечёт в них и они перестанут быть собой. — Говорят, он был человеком. Паладином. Одним из тех, кто поклялся защищать мир от демонов и носил доспехи из чистого серебра, потому что серебро убивает нежить, а для демонов есть святая вода и молитва. Но потом он перешёл на сторону Бездны — не потому, что его подкупили золотом, не потому, что его пытали, ломая кости одну за другой, пока он не согласился отречься от всего, во что верил. А потому, что не мог смотреть, как гибнут невинные. Или потому, что сошёл с ума от вида того, что творили демоны, и его мозг сломался, и в сломанном мозгу родилась мысль: «Если нельзя победить зло — стань злом и уничтожай его изнутри». Или потому, что его предали — те, кого он защищал, те, ради кого он шёл на смерть, те, кто называл его героем, пока он был жив, а как только он упал, отвернулись и сделали вид, что не знают его, потому что знать паладина, который перешёл на сторону врага, — это позор, а позор в Империи смывается только кровью, и чем больше крови, тем чище пятно. Эльфы не знают правды. Мы знаем только, что он не проиграл ни одной битвы.

Ни одной. Семьдесят три сражения. Семьдесят три победы. И ни разу он не отступил, не сдался, не попросил пощады.

— Ни одной? — переспросил я, и мой голос прозвучал так, как звучит голос человека, который спрашивает врача: «Сколько мне осталось?» — и слышит в ответ «три дня», но надеется, что врач ошибся, и на самом деле ему осталось как минимум неделя, и за эту неделю можно успеть сделать что-то важное, например, сказать «прости» тем, кого обидел, или «спасибо» тем, кто помог, или просто посидеть на крыльце и посмотреть на закат, который, как оказывается, бывает красивым даже зимой, когда небо серое и кажется, что солнце никогда не выйдет из-за туч.

— Ни одной, — подтвердила Эллана, и в её голосе не было ужаса — было только спокойное, холодное знание, как у человека, который читает книгу, где на каждой странице написано одно и то же: «И умерли все, кто сражался против него, и никто не спасся, даже те, кто бежал, даже те, кто спрятался, даже те, кто молился драконам, потому что драконы, как известно, не слышат молитв тех, кто уже обречён, и слушают только тех, кто ещё может выиграть битву, а выиграть битву против Кшиша нельзя — можно только проиграть её с честью, и то, если повезёт.

Я посмотрел на свои руки — мозолистые, обожжённые, с чёрными полосками вьёвшейся копоты, которые не смывались даже святой водой, потому что святая вода, как я заметил, вообще плохо смывает грязь — она только пахнет лада-

ном и оставляет на коже белые разводы, похожие на следы от ожогов. Я сжал пальцы в кулак и посмотрел на Эллану, на Изабель, на сэра Альбериха, который стоял в тени дерева и перебирал чётки, хотя никогда не был религиозным, и чётки эти были просто для успокоения.

— Всегда есть первый раз, — сказал я, и мой голос прозвучал ровно — так ровно, как звучит молот, когда он падает на наковальню, и звон от этого удара разносится по всей кузнице, и все, кто внутри, вздрагивают, а те, кто снаружи, думают: «Что там случилось? Неужели кто-то ударил по металлу сильнее, чем обычно? Или это просто работа, и в ней нет ничего страшного, даже если удары громче, чем обычно?»

Эллана усмехнулась — не насмешливо, как в гномьем зале, а почти тепло, почти по-человечески, и в этой усмешке было что-то, чего я не видел у эльфов никогда: усталость. Не физическая усталость — эльфы не устают физически, они могут идти три дня без сна и не заметить этого, — а душевная, та, которая накапливается годами, десятилетиями, столетиями, и в конце концов эльф либо уходит в лес и становится деревом, либо сходит с ума и начинает делать такие вещи, о которых потом жалеют все, кто остался в живых, включая его самого, если он ещё способен жалеть о чём-то, кроме того, что не умер раньше.

— Ты это серьёзно? — спросила она, и в её голосе прозвучало что-то похожее на надежду — такая маленькая, хрупкая, что я боялся дышать, чтобы не разбить её неосторожно.

НЫМ движением.

— Кузнец, который не верит в своё железо, — плохой кузнец, — ответил я, и я улыбнулся — не широко, не радостно, а так, как улыбается человек, который понимает, что скоро, возможно, умрёт, но не хочет, чтобы те, кто останется, помнили его испуганное лицо, потому что испуганные лица забываются быстро, а улыбки помнятся дольше, особенно если умирающий улыбался не потому, что ему было весело, а потому, что он не хотел пугать других. — А я — хороший. Или, по крайней мере, пытаюсь им быть. Пытаюсь каждый день, каждый час, каждую минуту. Иногда у меня получается. Иногда — нет. Но я не перестаю пытаться. Даже когда знаю, что впереди — полководец, который не проиграл ни одной битвы. Даже когда чувствую, как звезда в груди пульсирует быстрее, потому что она тоже боится, хотя гномы говорят, что она не умеет бояться. Даже когда смотрю на свои руки и понимаю, что они слишком короткие, чтобы достать до горла такого врага, а молот слишком тяжёлый, чтобы успеть замахнуться, прежде чем он разорвёт меня на части. Я всё равно буду пытаться. Потому что если я перестану — я умру. Не от его клинка — от своей собственной трусости. А умереть от трусости страшнее, чем умереть в бою, потому что в бою ты хотя бы можешь сказать: «Я сражался», а от трусости ты просто лежишь и думаешь: «Как же я жалок».

Эллана покачала головой — медленно, как качает ветвями дерево, которое уже знает, что его срубят завтра, но сего-

дня ещё хочет почувствовать солнце, и ветер, и прикосновение дождя, который смывает пыль с его листьев, и это прикосновение будет последним, но оно будет, и это уже что-то.

— Ты сумасшедший, кузнец, — сказала она, и в её голосе не было насмешки — было что-то, что я не мог определить, потому что не знал эльфов, не понимал их, не чувствовал их так, как чувствовал металл, но это что-то грело, как греет тепло от горна в холодный зимний вечер, когда ты сидишь в кузнице, снаружи воет ветер, а внутри — тишина, и ты слышишь, как угли потрескивают, и думаешь: «Может быть, завтра будет лучше, чем сегодня». — Но ты мне нравишься. Ты не похож на других людей. Ты не похож даже на себя — судя по тому, что я о тебе слышала, ты должен был умереть ещё в своей деревне, когда пришли демоны. Но ты не умер. Ты взял кочергу и пошёл бить демона. Потому что не умеешь сдаваться. Или потому, что не знаешь, что сдаваться можно, что это нормально, что это по-человечески, и никто не осудит тебя за страх. Ты просто... делаешь. Идёшь вперёд. Бьёшь молотом. Закрываешь собой леди. Вживляешь в себя проклятие, потому что надо. Прижигашь раны эльфийской княжне, потому что она встала между тобой и демоном. Ты делаешь всё это, и я не понимаю, откуда у тебя берутся силы. Ты же просто человек. Простой человек. Из простой деревни. С простой жизнью, которая закончилась в тот день, когда демоны сожгли твой дом. Откуда у тебя силы?

— Оттуда же, откуда у вас, эльфов, — ваша магия, — от-

ветил я. — Оттуда, где живёт то, что нельзя объяснить словами. У вас это называется «связь с лесом». У меня это называется «связь с молотом». Мы оба не знаем, как это работает. Но это работает. И когда оно перестанет работать — мы умрём. А пока работает — мы идём.

Она долго смотрела на меня — так долго, что я начал чувствовать себя неловко, как будто на меня смотрит не женщина, а весь лес, все его деревья, все его животные, все его корни, и они решают, стоит ли меня убивать прямо сейчас или подождать до вечера, когда станет темнее и удобнее прятать тело. Потом она отвернулась и пошла дальше, и я пошёл за ней, и молот мой был тяжёлым за поясом, и звезда в груди пульсировала, как второе сердце, и я чувствовал, что это второе сердце — моё проклятие, моя ноша, мой страх, моя надежда, — бьётся в такт с первым, и они вместе гонят кровь по моим жилам, туда, где скоро состоится битва, и в этой битве, возможно, я умру, но умру не трусом, а тем, кем я был всю свою жизнь — кузнецом, который не умеет сдаваться, даже когда проигрыш неизбежен.

К вечеру того же дня мы вышли к эльфийскому стойбищу — это был не город, даже не деревня, а просто несколько шатров, сплетённых из живых веток, которые, казалось, продолжали расти даже после того, как их срезали и переплели между собой; из срезов сочилась прозрачная, пахнущая мёдом смола, и в этой смоле, как в янтаре, застывали мелкие насекомые — комары, мошки, какие-то жучки с ярко-зелё-

ными спинками, которые, наверное, думали, что смола — это вода, и пытались пить, а смола затягивала их внутрь, и они умирали счастливыми, потому что последнее, что они чувствовали, был запах мёда и тепло, которое становилось всё горячее и горячее, пока не сжигало их изнутри. В центре стойбища горел костёр — не обычный, не из дров, а магический, из кристаллов, которые светились голубым, как кристаллы Иррилы в горах, и от этого света у меня заболели глаза, потому что я смотрел слишком долго, хотя знал, что на магический огонь нельзя смотреть — он смотрит в ответ и оставляет на сетчатке следы, которые не проходят до самой смерти, и ты потом всю жизнь видишь перед собой голубые пятна, даже когда закрываешь глаза, даже когда спишь, даже когда уже умер и тело твоё гниёт в земле, а душа — если у кузнецов есть душа — парит где-то в небе и видит те же голубые пятна, которые когда-то оставил в её глазах эльфийский костёр.

Вокруг костра сидели эльфы — молодые, с луками за спинами, с колчанами, полными стрел с наконечниками из того же металла, что и Слеза Дракона, или, по крайней мере, очень похожего на него; их глаза смотрели на нас без враждебности, но и без дружелюбия — они смотрели так, как смотрит лес, когда тыходишь в него в первый раз: оценивающе, холодно, без намёка на то, что тебя здесь ждут или хотя бы не против твоего присутствия.

— Эллана, — сказал один из них, поднимаясь с земли, и я

заметил, что он поднялся без помощи рук — просто распрямил ноги и встал, как встаёт трава, когда ветер стихает, — плавно, естественно, без усилий. — Зачем ты привела сюда людей? Ты знаешь, что лес не любит людей. Люди рубят лес, жгут лес, строят из леса дома, в которых живут, не думая о том, что дом — это чьё-то тело, и когда ты рубишь дерево, чтобы построить себе избу, ты убиваешь того, кто жил здесь двести, триста, пятьсот лет, и у тебя даже нет в этом дом алтаря, чтобы молиться духам убитых деревьев — ты просто живёшь в их трупах и не чувствуешь ничего, кроме тепла, которое дают дрова, сожжённые в печи.

— Изабель — моя союзница, Тарлин, — ответила Эллана, и в её голосе прозвучала сталь — та самая, которую я слышал в гномьем зале, когда она торговалась о големах, — холодная, острая, не допускающая возражений. — Она идёт к Лунным костям, чтобы закрыть разлом. Не ради славы — славы ей уже не нужно, её слава сгорела вместе с её королевством. Не ради денег — деньги кончились ещё в прошлом месяце, когда у неё увели последних солдат. А потому, что если она не закроет разлом, демоны придут в ваш лес, сожгут ваши деревья, вырежут ваши корни и заставят ваши души гнить в земле до тех пор, пока от вас не останется даже памяти, потому что демоны питаются памятью, и чем больше памяти они съедят, тем сильнее станут, а когда они съедят всю память мира — мир исчезнет, как исчезает свеча, когда догорает фитиль.

— Люди не могут закрыть разлом, — сказал Тарлин, и его голос был спокоен — таким спокойным может быть только голос человека, который уверен в своей правоте и не собирается сдаваться, даже если ему приведут сто доказательств обратного, потому что уверенность в своей правоте не зависит от доказательств — она зависит от упрямства, а у эльфов упрямства не меньше, чем у гномов, просто оно выглядит иначе: у гномов оно железное, грубое, а у эльфов — древесное, гибкое, но ломается оно не легче, чем железо, а иногда и тяжелее, потому что дерево гнётся, но не ломается, а железо ломается сразу, если перегнуть. — У них нет магии. У людей вообще нет магии, кроме той, которую они воруют у других народов — у эльфов, у гномов, у драконов. Они не умеют создавать — только разрушать, переделывать, красть. Как они закроют разлом? Кинь туда своего кузнеца? Или, может быть, его молот?

— У них есть Слеза Дракона, — сказала Эллана, и от этих слов Тарлин замер — не вздрогнул, не побледнел, не сделал шаг назад, а просто замер, как замирает дерево, когда в него вонзается топор, и оно ещё не упало, но уже знает, что скоро упадёт, и в этом предсмертном замирании есть что-то величественное и страшное одновременно. — И кузнец, который убил демона кочергой.

Тарлин медленно перевёл взгляд на меня, и я почувствовал на себе тяжесть его глаз — такую тяжесть, будто на мои плечи положили мешок песка, и я должен был нести его, не

сгибаясь, потому что если согнусь — песок просыплется, и все увидят, что я не такой сильный, как хотел бы казаться.

— Этот? — спросил он, и в его голосе прозвучало презрение — такое же древнее, как его лес, такое же холодное, как его костёр, такое же естественное, как дыхание, потому что эльфы презирают людей не потому, что люди хуже, а потому, что люди другие, а всё другое в эльфийском мире либо враг, либо еда, либо то, что можно игнорировать до тех пор, пока оно не исчезнет само собой, как исчезают все проблемы, если не обращать на них внимания достаточно долго. — Он выглядит как обычный крестьянин. Грязный. Немытый. Небритый. С руками, которые пахнут дымом и углём. И пахнет от него железом и страхом. Я чувю страх за версту. У него его много. Слишком много для воина. Слишком мало для героя.

— А ты пахнешь гнилью, — сказал я, и тишина после моих слов стала абсолютной — такой абсолютной, какой, наверное, была тишина в первый день творения, когда ещё не было ни звука, ни света, ни даже того, кто мог бы сказать: «Да будет свет», потому что некому было сказать, и нечего было освещать, и не было даже темноты, чтобы свет мог с ней бороться, была только пустота, и в этой пустоте не было даже одиночества, потому что одиночество — это когда ты один, а пустота — это когда нет даже тебя.

Эльфы не двигались. Даже костёр, казалось, перестал трещать, и голубые кристаллы в нём замерли, как замерзает во-

да в луже, когда ударяет мороз, и ты видишь, как на глазах образуется ледяная корка, тонкая, хрупкая, но уже не вода, а что-то другое, что можно сломать пальцем, но если сломаешь — порежешься, потому что лёд острый и не прощает тех, кто вмешивается в его превращение из жидкости в твёрдость.

— Что ты сказал? — прошептал Тарлин, и в его шёпоте слышалась угроза — такая же древняя, как лес, в котором он родился, такая же холодная, как его глаза, которые смотрели на меня из-под белых, почти прозрачных бровей, и в этих глазах не было ни злобы, ни гнева, ни даже обиды — было только изумление, изумление человека, который не ожидал, что грязный крестьянин с молотом за поясом посмеет сказать ему в лицо то, что не сказали бы даже короли, потому что короли умнее крестьян и знают, что эльфов нельзя оскорблять безнаказанно — эльфы помнят обиду дольше, чем живут королевства, и мстят за неё так, что враги предпочитают сразу умереть, чтобы не видеть, что с ними сделают.

— Ты пахнешь гнилью, — повторил я, и мой голос был спокоен — таким спокойным может быть только голос человека, который уже всё проиграл и больше ничего не боится, потому что бояться нечего, когда у тебя в груди пульсирует проклятие, которое может взорваться в любую секунду, и ты понимаешь, что самая страшная смерть — это не смерть от демонского клинка, а смерть от сомнения, когда звезда чувствует твой страх и говорит: «Ты не веришь в победу —

значит, ты предатель», — и взрывается, и от тебя остаётся только пятно на земле, которое дождь смоет через три дня, и никто даже не вспомнит твоего имени, потому что пятна не имеют имён. — Не снаружи — внутри. Ты гниёшь изнутри, Тарлин. Ты боишься — боишься, что демоны придут в твой лес и сожгут его дотла, как сожгли мою деревню. Ты боишься, что твои стрелы, которые ты точил сто лет, не пробьют их шкуру, потому что демоны эволюционируют быстрее, чем ты точишь стрелы, и то, что работало год назад, сегодня уже бесполезно. Ты боишься, что ты такой же гнилой, как деревья, которые гниют на корню, потому что никто не срубил их вовремя, и теперь они стоят, чёрные, мёртвые, полные червей, и заражают всё вокруг, и скоро весь лес станет таким же чёрным, мёртвым, полным червей, и ты сам станешь одним из этих деревьев, потому что ты — часть леса, а лес гниёт.

Тарлин медленно подошёл ко мне — так медленно, как подходит кошка к мыши, которая притворяется мёртвой, но кошка знает, что мышь не мёртвая, она просто боится, и этот страх делает её неподвижной, и её неподвижность кажется безопасной, но на самом деле это самая опасная поза, потому что когда мышь перестаёт бояться, она бросается на кошку, и кошка вскрикивает от неожиданности, и мышь убегает, и кошка остаётся ни с чем, только с царапиной на носу и с чувством, что она, кошка, сама виновата, что поверила в неподвижность. Он был выше меня на голову — стройный, тонкий, как ветка, которую согнуло ветром, но не сломало,

и она всё ещё держится, потому что не знает, как упасть, и боится, что упав, она никогда уже не поднимется. Его лицо было белым, как берёзовая кора, и на этом белом лице горели глаза — чёрные, глубокие, без единого проблеска света, как два колодца, в которые упали все звёзды и погасли, потому что в колодце темно всегда, даже в полдень, когда солнце светит прямо в него, свет не достигает дна, потому что дна нет, или есть, но до него слишком далеко, и ты никогда не узнаешь, что там, внизу, потому что спускаться туда — значит умереть, даже если ты эльф, а эльфы, как известно, не умирают от падения в колодец — они умирают от того, что видят на дне.

— Ты, человек, — сказал он тихо, и его голос был таким же чёрным, как глаза, — таким же глубоким, как колодец, и таким же пустым, как выжженное поле. — Если бы у меня было разрешение королевы, я бы всадил стрелу тебе в горло прямо сейчас. Не потому, что ты оскорбил меня — оскорбления эльфы смывают кровью, и чем больше крови, тем быстрее смывается обида, и я не привык ждать, когда она пройдёт сама собой. А потому, что ты опасен. Ты говоришь то, что думаешь. Ты не боишься смерти — или боишься, но не показываешь этого. Ты смотришь на эльфа как на равного — не снизу вверх, не сверху вниз, а прямо, в глаза, как смотрят только те, кто не знает, что эльфы старше, сильнее и лучше в любом деле, за которое берутся. Такие люди, как ты, разжигают войны. Не потому, что хотят войны. А потому, что сво-

им примером показывают другим, что можно быть другим, что можно не бояться, что можно смотреть в глаза страху и не отводить взгляд. А когда люди перестают бояться — они перестают подчиняться. А когда они перестают подчиняться — они начинают убивать. Сначала эльфов. Потом гномов. Потом драконов. Потом друг друга. И тогда наступает Бездна. Настоящая. Та, которая внутри, а не та, из которой приходят демоны.

— А если бы у меня был молот в руке, а не за поясом, — ответил я, и я посмотрел ему в глаза — прямо, не отводя взгляда, хотя мне было страшно, так страшно, что колени дрожали, и руки дрожали, и звезда в груди пульсировала так быстро, что казалось, сейчас она взорвётся от одного только страха, но я держался, потому что если я сейчас отведу взгляд, он подумает, что я слаб, а слабых в этом мире не любят — слабых убивают, слабых презирают, слабых предадут, и чтобы выжить, нужно быть сильным, или притворяться сильным, пока не станешь им по-настоящему, или хотя бы пока не умрёшь, но умрёшь с поднятой головой, а не с опущенной, и это уже что-то. — Я бы разбил твои колени, чтобы ты больше не мог стоять. Не потому, что я злой — я не злой, я просто кузнец, и я ломаю железо, когда оно не поддаётся, а твои колени, Тарлин, — это железо, которое поддаётся слишком легко, потому что ты давно уже согнулся, но не хочешь этого признавать, и стоишь прямо по привычке, а не потому, что у тебя есть для этого силы. Но у меня нет моло-

та. Он у костра. А твой лук — у тебя в руках. И стрелы твои — в колчане. И ты можешь убить меня, пока я буду идти за своим молотом. Так что, может быть, не будем мериться тем, чего нет? Может, просто сядем и поговорим, как разумные существа? У нас есть общий враг — демоны. У нас есть общая цель — закрыть разлом. У нас есть общая проблема — мы друг друга не знаем, не доверяем, не понимаем. Но это не значит, что мы должны убивать друг друга до того, как встретимся с настоящим врагом. Врагов и так много. Не надо добавлять к ним ещё и тех, кто может стать союзником.

Тарлин замер — так замирает лучник, когда целится в движущуюся мишень и боится промахнуться, потому что промах — это не просто потеря стрелы, это потеря лица, а потеря лица для эльфа хуже смерти, потому что смерть — это конец, а лицо — это начало, и если ты теряешь лицо, ты теряешь начало, и всё, что было до этого, обесценивается, как обесценивается медь, когда находят золото, и никто не хочет брать медь, даже если золота у них нет, потому что медь — это для бедных, а бедные в этом мире никому не нужны, даже тем, кто беднее их, потому что бедность заразна, и никто не хочет подхватить её, как болезнь, от которой нет лекарства.

Потом... он улыбнулся. Не широко, не дружелюбно, не по-человечески — эльфы не умеют улыбаться по-человечески, у них улыбка — это не расслабление лица, а его напряжение, когда уголки губ поднимаются вверх, а глаза становятся ещё

более пустыми, и в этой пустоте ты видишь себя — не таким, какой ты есть, а таким, каким ты мог бы быть, если бы родился эльфом и жил в лесу пятьсот лет и видел, как умирают все, кого ты любишь, и как вырастают новые деревья на их могилах, и как эти деревья тоже умирают, и так до бесконечности, пока ты не перестанешь замечать смерть, потому что смерть для эльфа — это просто смена времён года, и в ней нет ничего страшного, кроме того, что зима длиннее, чем лето, а весны иногда не бывает вовсе, и тогда ты думаешь: «Может быть, это конец? Может быть, зима будет длиться вечно?»

— Ты странный, человек, — сказал Тарлин, и в его голосе исчезла угроза — осталось только любопытство, такое же древнее, как лес, и такое же холодное, как его костёр, но в этом любопытстве было что-то живое, что-то, что не умерло в нём за пятьсот лет, и это что-то было похоже на надежду — маленькую, хрупкую, как первый подснежник после долгой зимы, когда снег ещё не сошёл, но цветок уже пробивается сквозь него, потому что не может ждать, когда станет теплее, и рискует замёрзнуть, но всё равно растёт, потому что расти — это единственное, что он умеет. — Я не знаю, дурак ты или гений, трус или герой, святой или грешник. Но ты не боишься меня. А это уже что-то. Эльфов боятся даже короли, даже драконы, даже гномы, у которых нет страха, кроме страха остаться без работы. А ты не боишься. Ты смотришь на меня, как на равного. Может быть, ты и есть равный.

Может быть, я ошибся, когда подумал, что люди — просто мясо, которое кричит, когда его режут. Может быть, среди этого мяса иногда попадаются кости. Твёрдые. Такие, что не сломать даже эльфийской стрелой.

Он протянул руку — ладонью вверх, как протягивают руку, когда просят мира, или когда предлагают помощь, или когда просто хотят показать, что в этой руке нет оружия, и ты можешь пожать её, не боясь, что тебя ударят ножом, потому что ножи у эльфов всегда спрятаны, и ты никогда не знаешь, где они, пока не почувствуешь лезвие у своего горла, но в этой руке, открытой, пустой, с длинными тонкими пальцами, на каждом из которых был надет серебряный перстень с руной, означающей «мир», — оружия не было. Я пожал его руку — холодную, твёрдую, пахнущую мхом и ещё чем-то, чего я не мог узнать, но что чувствовал всем телом: древностью, тысячелетиями, памятью о тех временах, когда люди ещё не умели говорить, а эльфы уже строили города в ветвях гигантских деревьев, которые потом вырубил люди, чтобы построить свои корабли и поплыть завоевывать новые земли, потому что людям всегда мало того, что у них есть, — им нужно больше, ещё больше, ещё, пока они не лопнут, и тогда из их лопнувших животов вылезают демоны и пожирают всё, что осталось, и начинается новый круг, и эльфы снова строят города в ветвях, и люди снова рубят деревья, чтобы построить корабли, и так до бесконечности, пока кто-то не скажет: «Хватит».

— Добро пожаловать в наш лагерь, — сказал Тарлин, и в его голосе не было тепла — было что-то другое, что я не мог назвать, что-то похожее на уважение, но не совсем, потому что эльфы не уважают людей — они их терпят, пока люди полезны, а когда люди перестают быть полезными, эльфы уходят в лес и делают вид, что людей никогда не существовало, что они приснились, что это был просто страшный сон, от которого нужно проснуться, и тогда всё станет хорошо, и лес снова будет зелёным, и звери снова будут петь, и птицы снова будут говорить на языке, который эльфы понимают без слов. — Может быть, ты и правда убьёшь демона. Убьёшь железом, без молитв, без магии, без эльфийской помощи — просто силой рук и упрямством, которого даже у гномов бывает меньше, чем у тебя, потому что гномы упрямы в работе, а ты упрям в жизни, и это разные вещи, и я не знаю, что опаснее. А если не убьёшь — мы хотя бы посмеёмся над твоей смертью. Не зло, не насмешливо — эльфы не смеются над смертью, смерть для нас — это смена сезона, и в ней нет ничего смешного, только грусть, которую мы лечим песнями, которые поём на ветвях старых дубов, когда никто не слышит. Но мы пошутим. По-своему. По-эльфийски. Ты всё равно не поймёшь, потому что для этого надо родиться в лесу и прожить пятьсот лет и научиться слышать то, что не слышат люди — шорох корней, шепот листьев, плач деревьев, которые рубят на дрова.

— Справедливо, — ответил я, и я улыбнулся — впервые

за этот долгий, страшный день, когда я шёл по лесу, чувствовал на себе взгляды эльфов, боялся звезды в груди и думал о том, что, возможно, завтра я умру, а сегодня — сегодня я жив, и я стою среди эльфов, и один из них пожал мне руку, и это уже что-то, это уже победа, маленькая, крошечная, почти незаметная, но победа, и я запомню её, даже если завтра умру, потому что победы, даже самые маленькие, остаются с тобой навсегда, они не исчезают вместе с телом, они перетекают в твои кости, в твою кровь, в ту звезду, которая пульсирует в груди и ждёт, когда я совершу ошибку, чтобы взорваться, но я не совершу ошибку, я не дам ей взорваться, потому что я — кузнец, и я умею держать удар, даже когда удар идёт изнутри, и его не видно, и ты не знаешь, когда он придёт, но ты знаешь, что он придёт, и ты готовишься, и ждёшь, и веришь, что выдержишь, потому что если не выдержишь — умрёшь, а умирать не хочется, когда ты только что нашёл в себе силы пожать руку эльфу и услышать в ответ не угрозу, а нечто похожее на признание.

Изабель смотрела на меня из-за плеча Тарлина, и в её глазах — серых, усталых, с золотыми искрами магии, которая потихоньку превращала её в дракона, — было что-то новое. Не уважение — уважение она уже проявляла, когда я согласился стать заложником. Не благодарность — благодарность она выражала, когда я прижёг рану Эллане, и её голос дрожал, и я видел, что ей стоило больших усилий не расплакаться, потому что королевы не плачут, даже когда внутри у них

всё горит и кажется, что сердце сейчас выпрыгнет из груди и убежит в лес, к эльфам, которые умеют плакать без стыда, потому что для эльфов слёзы — это вода, и вода не стыдно, вода — это жизнь, и когда эльф плачет, он поливает корни, и корни пьют его слёзы и становятся сильнее. В её глазах было любопытство — такое же, какое я видел у бабушки, когда она рассказывала мне сказки и ждала, что я скажу: «А дальше? А что было дальше? А почему дракон не съел принцессу, ведь принцессы такие вкусные?»

Она не понимала, как я это делаю — как обычный кузнец, сын кузнеца, внук кузнеца, человек, который всю жизнь прожил в деревне и никогда не видел ничего дальше трёх холмов от своего дома, заставляет эльфов улыбаться, гномов уважать, а королев — смотреть на него с любопытством, как на загадку, которую надо разгадать, и если не разгадать — то хотя бы запомнить, потому что такие загадки встречаются раз в жизни, а может быть, и раз в тысячу лет, и если ты их упускаешь, ты потом всю жизнь жалеешь, что не спросил: «Как ты это делаешь?» — а упустил момент, и момент ушёл, и человек, который был загадкой, умер или превратился в дракона, или ушёл в лес и стал деревом, и ты стоишь перед деревом, гладишь его кору и думаешь: «Может быть, это он? Может быть, его душа переселилась в это дерево, и оно помнит меня, но не может сказать, потому что деревья не говорят, даже на языке эльфов, они только шелестят ветвями и роняют листья, и в этом шелесте — ответ, но ты не понима-

ешь его, потому что не научился слышать, а научиться уже некогда, потому что ты тоже скоро умрёшь, и то, что не успел узнать, останется тайной навсегда».

Я не знал, как это делаю. Я просто говорил то, что думал, и делал то, что считал правильным. И, наверное, в этом и был секрет — в том, чтобы не думать, а делать. Не размышлять, а ударить. Не бояться, а идти вперёд, даже когда страшно, даже когда ноги не идут, даже когда звезда в груди пульсирует так быстро, что кажется, вот-вот взорвётся, и ты умрёшь от собственного страха, даже не встретившись с врагом.

Звезда в моей груди стала теплее — не горячее, нет, а именно теплее, как будто она тоже чувствовала, что я делаю что-то правильно, и одобряла это, и давала мне немного тепла, чтобы я не замёрз в этом холодном, чужом лесу, где даже воздух был другим, не таким, как в моей деревне, где ветер пах рожью и дымом, а здесь ветер пах мхом, прелыми листьями и чем-то ещё — чем-то древним, тёмным, что жило в лесу задолго до того, как эльфы пришли в этот мир, и, наверное, останется здесь и после того, как эльфы уйдут, превратившись в деревья, которые будут стоять и ждать, когда кто-то придёт и срубит их, или когда они сами упадут от старости, или когда демоны сожгут их дотла, и тогда от леса останется только пепел, и в этом пепле, копошась, будут рождаться новые демоны, более страшные, чем те, которые пришли из Бездны, потому что эти — из пепла, из того, что остаётся после полного уничтожения, и их нельзя убить же-

лезом, потому что железо плавится в пепле, и водой, потому что вода превращается в пар, и даже молитвой, потому что боги не слышат тех, кто сгорел дотла и рассыпался в прах, не оставив даже костей, которые можно было бы положить в стену, как делают гномы с черепами своих врагов, чтобы те служили им вечно, хотя на самом деле они не служат, просто лежат и смотрят пустыми глазницами на тех, кто придёт после, и думают: «А вы — такие же, как мы. Тоже умрёте. Тоже станете черепами. Тоже будете лежать в стене и смотреть. Ничего не изменилось».

Ночью случилось то, чего никто не ожидал — ни эльфы, которые считали, что чуют опасность за версту и могут предсказать нападение по шёпоту корней, ни гномы, которые полагались на свои каменные големы и огнестрелы, ни Изабель, которая пережила столько битв, что уже не верила в спокойные ночи, ни я, который просто старался уснуть, чтобы набраться сил перед завтрашним днём, но сон не шёл, потому что звезда в груди пульсировала и мешала расслабиться, и я лежал в шатре, смотрел в потолок, сплетённый из живых веток, и думал о том, что когда-то, в другой жизни, я спал на сене, в тепле, под крышей, которую чинил каждую весну, и эта крыша никогда не протекала, потому что я был хорошим кузнецом и сделал для неё хорошие гвозди, которые держали доски крепко, и дождь не проникал внутрь, и ветер не задувал, и я был счастлив, как может быть счастлив человек, который не знает, что завтра демоны сожгут его дерев-

ню, убьют его брата, пропадёт его отец, а он сам будет лежать на сырой земле с запёкшимися губами, а какая-то женщина плюнет ему в лицо, чтобы он снова мог говорить, и этот плевок станет началом новой жизни, в которой нет места сему, и крыше, и гвоздям, которые держат доски крепко, потому что новая жизнь — это война, и в ней нет ничего крепкого, кроме ненависти и надежды.

Я проснулся от крика — не человеческого, не эльфийского, не гномьего — демонического, того самого, который я слышал в ту ночь, когда сгорела моя деревня, и который теперь снился мне каждую ночь, но никогда не был таким громким, таким реальным, таким близким, как сейчас. Я выскочил из шатра, сжимая молот — тяжёлый, холодный, с прилипшими к рукояти чёрными волосами того первого демона, которого я убил, и эти волосы, казалось, шевелились в темноте, как живые, и я чувствовал их прикосновение к своей руке, и это прикосновение было липким, противным, но я не выпускал молот, потому что если я выпущу его, у меня не будет ничего, кроме страха, а со страхом, как я уже понял, не убьёшь даже муху, не то что демона.

Костёр погас — голубые кристаллы, которые горели без дыма и без тепла, просто давая свет, погасли все сразу, как будто кто-то дунул на них, и от этого дуновения свет исчез, и осталась только темнота — не та темнота, которая бывает ночью, когда месяц ещё не взошёл и звёзды спрятались за тучами, а та, которая живёт внутри, в сердце каждого чело-

века, и которую выпускают наружу только в самые страшные моменты, когда кажется, что света больше не будет никогда, потому что тьма победила, и она — везде, и ты в ней, и ты сам стал частью тьмы, и нет выхода, нет лучика, нет даже надежды на то, что когда-нибудь станет светло, потому что тьма не кончается, она только сгущается, становится плотнее, тяжелее, и ты тонешь в ней, как в болоте, и чем больше барахтаешься, тем быстрее уходишь на дно, а на дне — черви, которые ждут, когда ты упадёшь, чтобы сожрать тебя заживо, потому что черви тоже голодны, и они не разбирают, кто ты — человек, эльф, гном, демон — для них все вы просто еда, и чем свежее, тем лучше, а ты — свежий, ты только что проснулся, и твоя кровь ещё горячая и быстрая, и черви уже чувствуют её запах и тянутся к тебе из темноты, чтобы впитаться, вгрызться, выпить тебя до последней капли.

Вокруг — движение, быстрое, рваное, неправильное, как будто кто-то рвал ткань мира на куски, и эти куски двигались сами по себе, не подчиняясь ни законам физики, ни магии, ни здравому смыслу.

— Нападение! — закричал кто-то — кажется, Тарлин, его голос я узнал по той особенной эльфийской певучести, которая сохранялась даже в крике, даже в панике, даже когда смерть смотрит в лицо и не отводит взгляда, потому что эльфы не могут кричать по-человечески — их гортань устроена иначе, и звуки, которые они издают, всегда похожи на музыку, даже если эта музыка — песнь смерти, и в ней слы-

шится не страх, а что-то другое, что-то, что люди называют «роком», а эльфы — «мелодией, которую нельзя изменить, можно только сыграть до конца, не фальшивя».

Я увидел их — пятерых, а может, шестерых, а может, и больше, потому что в темноте трудно считать, когда тени движутся, и ты не понимаешь, где тень, а где тело, и где демон, а где его отражение в чьих-то испуганных глазах, которые видят то, чего нет, и не видят то, что есть, и ты надеешься, что их меньше, чем кажется, и что они слабее, чем тебя пугали, и что ты сможешь их убить так же, как убил того, первого, кочергой, хотя сейчас у тебя в руках не кочерга, а молот, и он тяжелее, и с ним труднее попасть в глаз, потому что глаз — маленькая цель, и демон вертится, и ты боишься промахнуться, потому что если промахнёшься, то следующий удар нанесут они, и ты не знаешь, куда они ударят — в лицо, в грудь, в живот, и будешь ли ты жив после этого удара, и если будешь жив, то сможешь ли ты ударить в ответ, или твои руки откажутся служить, или ноги подкосятся, или просто сознание покинет тебя, и ты упадёшь в темноту, и уже не встанешь, как не встают те, кто боится промахнуться и промахивается, потому что страх делает руку тяжёлой, а удар — медленным, и демон успевает увернуться, и ты бьёшь в пустоту, а демон смеётся и бьёт тебя в ответ, и его удар — быстрее ветра, и ты не успеваешь даже вскрикнуть, потому что вскрик застревает в горле, и ты чувствуешь, как что-то острое входит тебе в живот, и это что-то — холодное, чужое,

живое — начинает ворочаться внутри, разрывая тебя изнутри, и ты понимаешь, что это конец, и единственное, что ты можешь сделать — это упасть и не мешать другим сражаться, потому что мёртвые не должны мешать живым, они должны лежать тихо и ждать, когда их похоронят, или сожгут, или оставят гнить, в зависимости от обычаев того народа, который победит в этой войне, если кто-нибудь вообще победит.

Демоны с серпами вместо рук — такие же, как тот, который сжёг мою деревню, как тот, которого я убил кочергой, как те, которых мы рубили в Лисьих Норах, — возникали из ниоткуда: из теней, из чёрной травы, которая росла только там, где прошла Бездна, из воздуха, который становился плотным и тяжёлым, как перед грозой, и в этой плотности я чувствовал их запах — серы, горелого мяса и той сладковатой гнили, которая бывает только у демонов, потому что у людей, даже мёртвых, запах другой — более солёный, более влажный, более... человеческий, что ли. Люди пахнут страхом и смертью, а демоны пахнут победой, и в этом запахе — их сила, их уверенность, их знание того, что они победят, потому что они уже победили в тысяче миров, и этот мир будет следующим, и нет такой силы, которая могла бы их остановить, потому что они — Бездна, а Бездна всё поглощает, даже свет, даже время, даже память о том, что когда-то существовало что-то кроме тьмы.

Тарлин выпустил стрелу — я видел, как тетива дрогнула, как стрела сорвалась с неё, как полетела в темноту, рассекая

воздух с тонким, певучим свистом, и этот свист был похож на песню — короткую, красивую, смертельную, — и стрела вонзилась в грудь демона, пробила чёрную, блестящую, как смола, шкуру, и демон зашатался, но не упал, не умер, не исчез, как исчезают демоны в легендах, когда в них попадает волшебная стрела, выкованная эльфами на заре времён. Он вырвал стрелу из своей груди — медленно, с хрустом, как вырывают занозу, которая засела глубоко под кожей, — и бросил её обратно, не целясь, просто швырнул, как швыряют камень, когда хотят попасть в окно, и стрела полетела обратно, быстрее, чем летела туда, и Тарлин не успел увернуться — стрела вошла ему в плечо, пробила эльфийскую кольчугу, которая была сплетена из серебряных нитей и считалась непробиваемой, и вышла с другой стороны, обогрённая кровью — красной, как у людей, и я удивился, потому что думал, что у эльфов кровь другого цвета, зелёная или голубая, но нет, у эльфов кровь красная, как у всех, кто дышит воздухом и ходит по земле, и в этой крови — та же жизнь, та же боль, та же смерть, что и у нас, и от этого осознания мне стало почему-то легче, как будто я нашёл в эльфах что-то человеческое, что-то общее, что-то, что делало их не чужими, а просто другими, но не настолько другими, чтобы не пожалеть их, когда они умирают.

— Назад! — крикнул я, бросаясь вперёд, и мой голос прозвучал громко, так громко, что, наверное, его слышали даже демоны, потому что один из них — тот, который толь-

ко что бросил стрелу в Тарлина, — повернулся ко мне, и в его глазах, жёлтых, как сера, горящих, как угли, я увидел не удивление, а узнавание. Он знал меня. Не как личность — демоны не различают людей, для них все люди одинаковы, как для людей одинаковы муравьи, когда они бегут по своим муравьиным делам, и ты не можешь отличить одного муравья от другого, но давишь их всех одинаково, не задумываясь, кто из них был строителем, а кто солдатом, а кто просто нёс лист, который был больше его самого. Он знал во мне того, кто убил его сородича. Того, кто посмел поднять руку на порождение Бездны. Того, кто не молился, не крестился, не просил пощады — просто ударил. И в этом узнавании была ненависть — такая чистая, такая древняя, такая абсолютная, что я почувствовал, как она обжигает моё лицо, как удар, как огонь, как пощёчина.

Я ударил молотом — не в глаз, этот был слишком далеко, и я не достал бы, даже если бы прыгнул, а в колено, потому что колено — это сустав, а суставы у демонов такие же уязвимые, как у людей, просто защищены толще, и бить надо сильнее, и я бил — со всей силы, со всей злости, со всей той болью, которая накопилась во мне за эти дни, когда я видел смерть, когда я чувствовал звезду в груди, когда я думал о том, что, возможно, никогда больше не увижу свою кузницу, свой горн, свою наковальню, которая помнила руки моего отца, моего деда, моего прадеда, и которая, наверное, уже переплавлена демонами на что-то другое, на оружие, кото-

рое убьёт ещё больше людей, и никто из тех, кто будет убит этим оружием, не узнает, что когда-то эта сталь была частью моей жизни, моей семьи, моей истории.

Демон взвыл — так воют волки, когда попадают в капкан, и знают, что спастись нельзя, можно только выть и ждать, когда придёт охотник и добьёт их, или когда капкан раздавит кость, и боль станет невыносимой, и тогда они сами перегрызут себе лапу, чтобы убежать, хромя, истекая кровью, но жить, потому что жизнь для волка — это всё, даже если она — хромота и боль, и страх, и бесконечная охота на то, что может убежать, и бегство от того, что может догнать. Он рухнул — тяжело, гулко, как падает мешок с углём, когда его сбрасывают с телеги, и я ударил ещё раз — по голове, по той самой голове, которая треснула, как яйцо, и из трещины потекло что-то чёрное и горячее, и это что-то попало мне на лицо, на руки, на грудь, и я почувствовал, как оно жжётся, как кислота, как святой воды, которую льют на раны, чтобы очистить их от скверны, но эта жидкость была не святой — она была демонской, и она жгла не тело, а душу, и я зажмурился, потому что боялся, что она попадёт в глаза, и глаза выжжет, и я останусь слепым, а слепой кузнец — это не кузнец, это просто человек с молотом, который не видит, куда бьёт, и может ударить по другу, а не по врагу, и тогда друг упадёт, и его кровь будет на твоём молоте, и эта кровь будет кричать: «Зачем ты меня убил? Я же был с тобой!»

— Слева! — закричала Эллана, и я услышал её голос как

сквозь вату — глухо, далеко, как будто она кричала не рядом, а с другого конца мира, и я повернулся, не успев даже потереть лицо от чёрной, горячей жидкости, которая заливала глаза, и увидел второго демона — с серпом, занесённым для удара, и его серп был так близко, что я видел царапины на лезвии, и ржавчину, и тёмные пятна, похожие на засохшую кровь, которая была здесь, на этом серпе, ещё до того, как он пришёл в этот мир, потому что демоны не моют оружие — им нравится, когда на их клинках засыхает кровь жертв, и они специально оставляют её, чтобы напоминать себе и другим: «Мы убивали, убиваем и будем убивать, и нет такой силы, которая заставит нас остановиться, потому что убийство — это наша природа, и мы не можем изменить её, как не можете изменить свою природу вы, люди, когда пытаетесь быть добрыми, но внутри вас всегда сидит зверь, и вы только и ждёте, когда он вырвется наружу и покажет, кто вы на самом деле».

Я не успевал поднять молот — рука затекла, молот казался тяжёлым, как глыба, которую не сдвинуть с места, и я смотрел на серп, который летел к моей шее, и думал: «Вот и всё. Сейчас он ударит. И я умру. И звезда в груди, наверное, взорвётся от моего страха, и от меня не останется даже пятна, которое дождь смоет через три дня, потому что взрыв испепелит всё — и тело, и кровь, и кости, и даже память обо мне, которую я пытался сохранить, когда говорил с эльфами, когда жал руку Тарлину, когда смотрел в глаза Изабель

и обещал, что выживу».

Эллана прыгнула между мной и демоном — я не понял, откуда она взялась, как она успела, зачем она это сделала, потому что эльфы не прыгают под удары за людей — эльфы спасают свою шкуру, это у них в крови, в их древней, тысячелетней мудрости, которая учит их: «Не лезь туда, где можешь погибнуть, потому что если ты погибнешь, лес потеряет тебя, а лес не должен терять своих детей, детей мало, а лесов много, и каждый эльф ценен, как дерево, которое растёт сто лет, и если его срубить, на его месте вырастет другое, но это будет уже другое дерево, не помнящее того, что помнило первое». Но она прыгнула, и серп, который летел в мою шею, вонзился ей в бок — в то самое место, где она носила свою эльфийскую броню, которая не выдержала, потому что броня гномов крепка, и руны на ней сильны, но серп Бездны режет даже руны, потому что Бездна не признаёт магии Порядка — для неё вся магия — это просто игра, и правила игры она устанавливает сама, и её правила таковы: «Я убиваю всё, что движется, а что не движется — убиваю во второй раз, чтобы убедиться, что оно действительно мертво».

Эллана вскрикнула — коротко, сдавленно, как будто подавилась воздухом, и упала на колени, и её зелёное платье стало чёрным от крови, и я увидел, как из раны течёт кровь — красная, человеческая, такая же, как у Тарлина, и такая же, как у меня, и эта кровь пахла не мёдом и не лесом, а железом и солью, как пахнет кровь у всех, кто дышит воздухом

и ходит по земле, независимо от того, эльф ты, человек или гном.

— НЕТ! — заорал я, и в этом крике было столько ярости, столько отчаяния, столько боли, что звезда в моей груди, наконец, испугалась и перестала пульсировать, замерла, как замирает сердце, когда понимает, что сейчас случится что-то страшное, и лучше не биться, а сжаться в комок и ждать, когда боль пройдёт, но боль не проходила, и я не помню, что было дальше — помню только, что молот в моих руках стал лёгким, слишком лёгким, как будто он потерял вес и превратился в перо, и я бил им как одержимый — по головам, по рукам, по спинам, по тем местам, куда попадал, не разбирая, куда бью, лишь бы бить, лишь бы они падали, лишь бы они не вставали, и демоны падали, и я поднимал их и бил снова, и снова, и снова, пока от них не оставалось просто мясо — чёрное, дымящееся, вонючее, и это мясо лежало на земле, и из него вытекала та же чёрная, горячая жидкость, которая жгла мою кожу, и я стоял посреди этого месива и тяжело дышал, и мои руки тряслись, и лицо было мокрым — я не знал, от пота, от крови или от слёз, и мне было всё равно, потому что Эллана лежала на земле, и она не двигалась, и я думал: «Всё. Я не успел. Она умерла. Она закрыла меня от демона, и я не успел её спасти. И теперь её смерть на мне. На моих руках. На моём молоте. И я никогда не смогу этого исправить, потому что мёртвых не воскресить, даже если ты самый лучший кузнец в мире, даже если ты умеешь ковать

сталь так, что она поёт под молотом, даже если Звезда Тор-галя не взорвалась от твоей злости, потому что злость — это не сомнение, злость — это уверенность, а звезда не боится уверенности, она боится слабости, а я сейчас был не слаб, я был силён, так силён, что мог бы убить ещё десяток демонов, но Эллана от этого не ожила бы, и я упал на колени рядом с ней, и мои колени утонули в чёрной, липкой грязи, и я взял её за руку — холодную, тонкую, с длинными пальцами, на каждом из которых был серебряный перстень, и я подумал: «Наверное, эти перстени что-то значат. Наверное, они защищают её от магии. Но не защитили от серпа. Потому что серп сильнее. Или потому, что она прыгнула слишком быстро, и перстени не успели сработать, а может быть, они сработали, но не помогли, потому что Бездна всегда сильнее, чем защита от неё, и всё, что мы делаем, чтобы защититься, — это просто отсрочка, и рано или поздно Бездна пробьёт любую защиту, и тогда наступит конец».

— Она умирает, — сказал сэр Альберих, склонившись над ней с другой стороны, и его изуродованное лицо в свете вновь зажжённых кристаллов было серым, как пепел, — серым от усталости, от страха, от того, что он видел слишком много смертей за свою долгую жизнь и знал, что некоторые раны не заживают, даже если их поливать святой водой и трижды в день читать молитвы Дракону Света, который, возможно, уже умер, как умерли все боги, и его смерть была тихой, незаметной, как умирают старые деревья в лесу —

сначала перестаёт расти, потом осыпается кора, потом падают ветви, потом остаётся только ствол, и ствол стоит сто лет, и никто не знает, жив он или мёртв, пока однажды не упадёт, раздавив тех, кто стоял слишком близко, и тогда все говорят: «Ах, оказывается, он был мёртв ещё тогда, когда мы на него смотрели, и мы ничего не заметили, потому что не умеем отличать живое от мёртвого, а если умеем, то делаем вид, что не умеем, потому что бояться жить с живыми легче, когда ты думаешь, что они мертвы, и тебе не нужно их бояться, и ты можешь спокойно проходить мимо, не оглядываясь».

— Серп Бездны, — сказала Изабель, которая тоже подошла и стояла над Элланой, и её голос звучал глухо, как звук колокола, который треснул, и его уже нельзя починить, но можно использовать как горшок для цветов, если цветы не требуют много земли и могут расти в трещинах, где скапливается вода после дождя. — Рана не заживает. Ни магия, ни травы не помогут. Даже гномьи мази, которые затягивают рваные раны за час, бессильны против этого. Потому что серп Бездны не режет плоть — он режет душу, и душа истекает кровью, и когда кровь кончится, душа умрёт, а тело останется жить — пустым, безжизненным, как кукла, которую дёргают за нитки, и нитки обрываются, и кукла падает, и никто не поднимает её, потому что поднимать куклу некому, все умерли или разбежались, или просто не заметили, потому что кукла была не очень красивой, и её жалко было только того, кто её сделал.

— Есть способ, — сказал я, не поднимая головы, и все замолчали, потому что в моём голосе, наверное, было что-то, что заставляло замолкать даже тех, кто не привык слушать кузнецов, которые говорят о лечении ран, когда рядом есть эльфы, знающие тысячу трав, и гномы, знающие тысячу мазей, и рыцари, знающие тысячу молитв, и все они уже сказали: «Ничего не поделаешь», — а тут приходит кузнец и говорит: «Есть способ», — и ты не знаешь, верить ему или нет, но верить хочется, потому что если не верить — останется только уныние и тоска по умершей, а тоска — это тоже проклятие, и оно не лечится, оно только растёт, как растут сорняки на могилах, и чем больше ты поливаешь их слезами, тем выше они становятся, и в конце концов сорняки закрывают могилу, и ты уже не помнишь, кто там похоронен, и зачем ты приходил, и плакал ли ты вообще, или тебе просто показалось.

Все посмотрели на меня — сэр Альберих с сомнением, Изабель с надеждой, Тарлин с удивлением, а остальные эльфы — с тем особенным выражением, которое появляется у них, когда они видят нечто необъяснимое, но не хотят показывать, что оно для них необъяснимо, потому что эльфы считают, что знают всё, что только можно знать в этом мире, и если они чего-то не знают, значит, этого не существует, а если существует, то не заслуживает внимания, потому что существует недолго и умрёт прежде, чем они успеют им заинтересоваться.

— Какой? — спросил Тарлин, и в его голосе прозвучало недоверие — такое же сильное, как боль в его плече, из которого торчала стрела, и он даже не морщился, потому что эльфы не морщатся от боли — они улыбаются, и их улыбка — это маска, под которой скрывается всё: и страх, и боль, и отчаяние, и надежда, и любовь, и ненависть, и всё, что между ними, и ты никогда не узнаешь, что именно скрывается за этой улыбкой, потому что эльфы не раскрывают своих карт до конца — они всегда оставляют один козырь в рукаве, даже когда рукав пуст и козыря нет, и они просто делают вид, что он есть, и ты веришь, потому что тебе страшно не верить, когда ставки так высоки.

— Калёное железо, — сказал я, и я поднял свой молот — чёрный, закопчённый, с прилипшими волосами демонов, с запёкшейся кровью, которая не смывалась даже кипятком, потому что демонская кровь проникает в металл, как масло проникает в хлеб, и остаётся там навсегда, и от этого, наверное, молот стал тяжелее, чем был, но я уже не помнил, каким он был раньше — до того, как я убил демона, до того, как я поклялся защищать Изабель, до того, как я согласился на Звезду Торгаля, — я помнил только, что он был моим, и это было единственное, что осталось у меня от той жизни, когда я был просто кузнецом, а не героем, не заложником, не тем, кто прижигает раны эльфийским княжнам калёным железом. — Прижечь рану. Убить порчу Бездны огнём. Выжечь её, как выжигают гниль в дереве, чтобы не пошла дальше, и

дерево не сгнило целиком, и его можно было использовать, хотя бы на дрова, если не на постройку.

— Это убьёт её, — сказал сэр Альберих, и его вывернутый глаз расширился, как расширяется глаз у человека, который видит, как кто-то собирается сделать что-то безумное, и не может остановить его, потому что у него нет аргументов, кроме страха, а страх — плохой аргумент, когда жизнь висит на волоске. — Боль. Ожог. Она не выдержит. Эльфы чувствительны к боли — у них нервная система тоньше, чем у людей, и то, что человек переживёт с криком, эльф переживёт с потерей сознания, а если потеря сознания будет слишком глубокой — она может не проснуться, и тогда мы убьём её сами, не дожидаясь, пока демонская порча сожрёт её изнутри.

— А если не прижечь — она умрёт точно, — ответил я, и я посмотрел на сэра Альбериха, на его изуродованное лицо, на его шрамы, которые, наверное, тоже когда-то были ранами, и кто-то прижигал их калёным железом, и он выжил, хотя и остался без носа, с вывернутым глазом, с ожогами, которые никогда не заживут до конца, и, может быть, он боялся, что Эллана станет такой же, как он — изуродованной, страшной, одинокой, и эльфы отвернутся от неё, потому что эльфы ценят красоту превыше всего, и если красота уходит, они перестают видеть человека, они видят только шрамы, и эти шрамы напоминают им о том, что они тоже могут стать такими, и это напоминание им неприятно, и они предпочитают забыть

того, кто напоминает им об их собственной уязвимости. — У неё нет выбора. И у нас нет выбора. Мы можем только попробовать. Если получится — она выживет. Если нет — она умрёт от нашей помощи, а не от демонского клинка, и это будет наша вина, и мы будем нести её до конца своих дней, но мы хотя бы попробуем. А если мы не попробуем — она умрёт от порчи, и это будет не наша вина, а наша трусость, и трусость — это хуже, чем вина, потому что вину можно искупить, можно замолить, можно загладить добрыми делами, а трусость — это не грех, это болезнь, и она не лечится, она только прогрессирует, и в конце концов ты становишься трусом полностью, и уже не можешь сделать ничего смелого, даже когда от твоего поступка зависит жизнь всего мира.

Я опустился на колени рядом с Элланой — она лежала на земле, бледная, как мрамор, и её зелёное платье было чёрным от крови, и эта кровь всё ещё текла, медленно, но не останавливаясь, как течёт вода из прорванной плотины, и я знал, что если не остановить её сейчас, она вытечет вся, и Эллана умрёт от потери крови, даже если порча не убьёт её первой. Она смотрела на меня — и в её глазах, в этих пустых, молочных эльфийских глазах, в которых не было зрачков, но была глубина, такая глубина, что я чувствовал, как тону в ней, как в болоте, но это болото было не страшным, а тёплым, почти родным, как будто я возвращался домой, в свою деревню, которая сгорела дотла, и от дома остались только угли, и от кузницы — только наковальня, и от жизни

— только воспоминания, и эти воспоминания были тёплыми, как угли, и я грелся ими в холодные ночи, когда звезда в груди пульсировала особенно сильно и не давала спать, и я думал о том, что, возможно, когда-нибудь я построю новый дом, новую кузницу, новую жизнь, но для этого нужно сначала выжить, а чтобы выжить, нужно спасти Эллану, потому что если она умрёт — я не смогу простить себе, что стоял рядом и смотрел, как она закрывает меня от демона, и ничего не сделал, кроме того, что бил демонов молотом, а нужно было не только бить, нужно было ещё и думать, и думать быстрее, чем они бьют, и бить точнее, чем они думают, и я не умел думать быстро — я умел только ковать медленно и тщательно, и в бою это была плохая привычка, потому что в бою нет времени на тщательность, есть только время на удар, и ты либо успеваешь, либо нет, и если нет — то тебя убивают, и все твои тщательные планы, и все твои медленные размышления, и все твои надежды на лучшее остаются там, где ты упал, и их съедают черви, если черви доберутся до тебя раньше, чем твои друзья, и если у тебя есть друзья, и если они не боятся червей.

— Ты сделаешь это? — спросила она, и её голос был тихим, очень тихим, как шёпот листьев, и в этом шёпоте не было страха — была только усталость, такая же глубокая, как моя, и я понял, что мы похожи — мы оба устали, оба видели слишком много смерти, оба шли вперёд, потому что не могли остановиться, и единственное, что нас держало, — это то,

что мы были нужны другим, и если мы умрём, другие умрут следом, и тогда всё, что мы делали, теряет смысл, и мы умрём напрасно, а умирать напрасно — это самое страшное, что может случиться с человеком, который привык делать что-то осмысленно, даже если этот смысл был только в том, чтобы забить гвоздь в доску и сказать: «Вот, я сделал это, и это будет стоять сто лет».

— Да, миледи, — ответил я, и я посмотрел на свой молот, который лежал у костра, и костёр снова горел — голубым, холодным светом, и в этом свете молот казался не железным, а серебряным, как тот, из которого, говорят, эльфы делают свои стрелы, убивающие демонов, но я знал, что это не так, что мой молот — просто железо, и в нём нет магии, кроме той, которую вкладывает в него кузнец, когда бьёт им, и эта магия — не магия Света или Порядка, а просто магия упрямства, и она слабее, чем магия Бездны, но иногда её хватает, чтобы убить демона или прижечь рану эльфийской княжне, и иногда это — всё, что у тебя есть, и иногда этого достаточно.

— Тогда делай, — сказала Эллана, и она закрыла глаза — не от страха, а от доверия, и это доверие обожгло меня сильнее, чем любой огонь, потому что я не был достоин его — я был просто кузнецом, который однажды убил демона ко-чергой, и этот подвиг, наверное, был случайностью, и вторая случайность могла не повториться, а третья — убить её, и тогда она умрёт, потому что поверила мне, а я ошибся, и моя

ошибка будет стоить ей жизни, и я буду помнить это до конца своих дней, если, конечно, доживу до конца своих дней, а не умру раньше от демонского клинка или от взрыва звезды, или просто от старости, которая, говорят, тоже не щадит никого, даже тех, кто убил сотню демонов и носит в груди проклятие гномов.

Я положил молот на костёр — прямо на голубые кристаллы, которые горели без тепла, но я знал, что если подержать железо достаточно долго, оно нагреется даже от такого огня, потому что огонь — это огонь, и он не спрашивает, какой у него цвет — голубой, красный, жёлтый, белый, — он просто даёт тепло и свет, и иногда — смерть, если поднести руку слишком близко, и я подносил молот близко, очень близко, и ждал, пока он нагреется, и минута тянулась как час, и час — как день, и день — как год, и я смотрел на Эллану, которая лежала с закрытыми глазами и, наверное, молилась тем богам, в которых верили эльфы, а верили они в лес, и я не знал, может ли лес услышать молитву и помочь, или лес — это просто деревья, и деревьям всё равно, кто молится, а кто нет, они просто растут и ждут, когда их срубят, или сожгут, или они умрут сами от старости, и в этой смерти не будет ни смысла, ни молитвы, ни даже надежды на то, что их вспомнят, потому что деревья умирают так же тихо, как живут, и никто не замечает их смерти, пока не споткнётся о корень или не ударится головой о низко висящую ветку, и тогда они говорят: «Ах, здесь было дерево, я его не заметил, потому

что оно сливалось с лесом, как сливаются с лесом все деревья, и только когда оно упало, я понял, что оно было, и теперь его нет, и, может быть, я должен был что-то сделать, чтобы оно не упало, но я не сделал, потому что не знал, и теперь поздно, и я буду помнить об этом до конца своих дней, если доживу до конца своих дней, а они, наверное, не будут долгими, потому что мир рушится, и вместе с миром рушатся все деревья, даже те, которые казались вечными».

— Готово, — сказал я, доставая молот из костра, и молот был красным — раскалённым, таким, каким он был в тот день, когда я убил демона кочергой, и я поднёс его к ране Эл-ланы, и её кожа — зелёная, как мох, — стала белой от жара, который исходил от железа, и я увидел, как она напряглась, как сжала кулаки, как закусил губу, и я подумал: «Сейчас она закричит, и этот крик я буду помнить всю жизнь, и он будет сниться мне по ночам, и я буду просыпаться в холодном поту и не понимать, где я — в кузнице, в лагере, в аду или в том месте, где нет ни звуков, ни цветов, ни запахов, только пустота, и в этой пустоте — её крик, который никогда не кончается, потому что крик, однажды услышанный, не исчезает, он остаётся в памяти навсегда, и ты носишь его в себе, как носят бомбу, которая может взорваться в любой момент, и ты не знаешь, что будет после взрыва — свет или тьма, жизнь или смерть, или ничего, просто пустота, как до рождения, и ты боишься этой пустоты больше, чем смерти, потому что смерть — это конец, а пустота — это даже не на-

чало, это то, чего никогда не было, и не будет, и ты не знаешь, как с этим жить, потому что жить в пустоте нельзя, можно только умереть, и даже смерть не спасёт, потому что после смерти — снова пустота, и так до бесконечности, пока кто-то не скажет: «Хватит».

Я прижал молот к её ране, и Эллана закричала — так, как кричат только те, у кого вырывают душу, не спрашивая разрешения, и этот крик был нечеловеческим, неэльфийским, негномьим — он был всеобщим, он был криком всего живого, которое страдает, которое болит, которое хочет жить, но не может, потому что боль слишком сильна, и сознание отключается, и ты падаешь в темноту, и в этой темноте нет ни криков, ни боли, ни страха, только тишина, и ты думаешь: «Может быть, это и есть смерть? Может быть, я уже умер, и этот крик был последним, что я услышал, и теперь я в том месте, где нет ничего, и я должен привыкнуть к этому ничего, потому что обратной дороги нет, и я никогда не увижу леса, и не услышу пения птиц, и не почувствую запаха мха, и не прижму к своей груди того, кого люблю, потому что того, кого я люблю, тоже нет, или он есть, но он в другом месте, и мы никогда не встретимся, потому что в этом ничего нет места для встреч — есть только вечное одиночество, и оно длится вечность, и ты не знаешь, сколько вечность длится, но чувствуешь, что это слишком долго, слишком долго для того, кто привык к быстротечности жизни, которая кончается, даже не успев начаться».

Потом она замолчала, и тишина стала ещё страшнее, чем крик, потому что в крике была жизнь, а в тишине — неизвестность, и я боялся, что она умерла, что я убил её своим калёным железом, и что теперь все эльфы набросятся на меня и разорвут на куски, и это будет справедливо, потому что я убил их княжну, хотя пытался спасти, и попытка не удалась, и неудачников в этом мире не любят, особенно когда их неудача стоит жизни тому, кто был дорог.

— Готово, — сказал я, убирая молот, и мои руки тряслись, и я смотрел на рану — чёрную по краям, но кровь перестала течь, и сквозь чёрную корку пробивалась новая, чистая кожа, и эта кожа была не зелёной, как у эльфов, а розовой, как у новорождённого, и я подумал: «Может быть, она выживет. Может быть, калёное железо помогло. Может быть, я не убил её, а спас. Может быть, я не такой плохой кузнец, как мне кажется. Может быть, я даже хороший. Может быть, я смогу сделать что-то ещё, кроме того, что убивать демонов и прижигать раны. Может быть, я смогу построить что-то новое на руинах старого. Может быть, я смогу...»

— Ты спас её, — сказал Тарлин, и в его голосе не было благодарности — было изумление, как у человека, который смотрит на фокусника и не понимает, как тот делает свои трюки, и фокусник не объясняет, потому что если объяснит, магия исчезнет, и все увидят, что за этим стоит только ловкость рук и немного удачи, и удача — это главное, и если её нет — нет ничего.

— Я просто сделал свою работу, — ответил я, и я убрал молот за пояс, и почувствовал, как звезда в груди стала теплее — не горячее, нет, а именно теплее, и эта теплота разливалась по всему телу, от груди к животу, от живота к ногам, от ног к рукам, и я почувствовал, как уходит напряжение, как расслабляются мышцы, как проходит дрожь, и я подумал: «Может быть, звезда не только проклятие. Может быть, она ещё и награда. Награда за то, что я сделал правильно. Награда за то, что я не испугался. Награда за то, что я не солгал себе. Награда за то, что я был честен. Награда за то, что я — это я, и я не пытаюсь быть кем-то другим, и не хочу быть кем-то другим, и даже если умру — умру собой, а не кем-то, кто боялся жить своей жизнью и поэтому притворялся, что живёт чужой».

Эллана открыла глаза — медленно, как открываются цветы на рассвете, и в её глазах, в этих пустых, молочных глазах, которые, казалось, не видели ничего, кроме того, что было внутри, появилась искра — маленькая, слабая, но живая, и эта искра была похожа на ту, которую я видел в глазах Изабель, когда она смотрела на меня после разговора у ручья, и я понял, что эта искра — надежда, и она есть у всех, даже у тех, кто давно уже не верит в неё, даже у тех, кто называет себя мёртвым внутри и ни на что не надеется, потому что надежда — это не выбор, это состояние, и оно приходит, когда ты не ждёшь, и уходит, когда ты слишком сильно веришь в него, и ты не можешь управлять им, ты можешь толь-

ко принимать его, когда оно приходит, и не плакать, когда уходит, потому что плакать бесполезно — надежда вернётся, если нужно, или не вернётся, если не нужно, и ты никогда не узнаешь, что нужно, а что нет, пока не умрёшь, а когда умрёшь — уже поздно, и всё, что ты не успел, останется не сделанным, и никто не сделает это за тебя, потому что у каждого своя жизнь, и в каждой жизни — своя надежда, и чужие надежды никого не греют, как чужие дрова не горят в твоей печи, даже если дрова хорошие, и печь новая, и ты умеешь разжигать огонь.

— Ты, — прошептала она, и её голос был тихим, как шёпот листьев, и в этом шёпоте не было боли — была только признательность, такая же глубокая, как лес, и я почувствовал, как эта признательность обволакивает меня, как тёплый плащ в холодную ночь, и я подумал: «Может быть, она права. Может быть, мы должны друг другу. Может быть, это не долг, а что-то другое, что-то, что нельзя измерить золотом или услугами, что-то, что можно только почувствовать, и если чувствуешь — значит, это есть, а если нет — значит, ничего не было, и ты просто ошибся, приняв обычную вежливость за любовь, а любовь — за вежливость, и в этой ошибке — вся твоя жизнь, которую ты прожил зря, потому что не понял главного, не успел, не захотел, не смог».

— Ты теперь будешь мне должен, — сказала она, и в её голосе появилась та самая эльфийская надменность, которая была в ней, когда она сидела в гномьем совете и торговалась

о големах, и я улыбнулся, потому что эта надменность означала, что она жива, что она вернулась, что она снова стала собой, а не тем, кем её сделала боль и страх смерти.

— Я никому ничего не должен, — ответил я, и я встал с колен, и мои колени хрустнули, потому что я долго стоял на них, и они затекли, и в этой хрусте была жизнь — негромкая, но настойчивая, как стук молота по наковальне, и я подумал: «Я жив. Я жив, и Эллана жива, и демоны мертвы, и звёзды на небе — всё те же, что и вчера, и мир не рухнул, и завтра будет новый день, и в этом новом дне — новая битва, новая надежда, новая возможность сделать что-то правильно, не ошибиться, не упасть, не сломаться, и, может быть, даже выиграть, и я выиграю, или умру, пытаюсь выиграть, и в этом не будет позора, потому что умереть, пытаюсь, — это не позор, это честь, а честь — это то, что остаётся после тебя, когда ты уже превратился в прах и развеялся по ветру, и частицы твоего праха попадают в лёгкие других людей, и они вдыхают тебя, и ты становишься частью их, и они становятся частью тебя, и это — бессмертие, которого не может дать ни один дракон, ни один бог, ни одна магия, только жизнь, прожитая правильно, и смерть, принятая достойно.

— Будешь, — сказала Эллана, и она улыбнулась — слабо, но искренне, и в этой улыбке не было надменности, не было эльфийской холодности, не было даже той насмешки, которая была в ней, когда она впервые смотрела на меня в гномьем зале и называла странным. В этой улыбке было что-

то человеческое — тёплое, живое, настоящее, и я подумал: «Может быть, эльфы не такие уж и холодные. Может быть, они просто устали. Устали жить дольше, чем нужно. Устали видеть смерть тех, кого любят. Устали от того, что мир меняется слишком быстро, а они — слишком медленно, и уже не могут угнаться за этими изменениями, и всё, что им остаётся, — это прятаться в лесах и делать вид, что ничего не происходит, а на самом деле происходит, и они знают об этом, но не могут ничего изменить, потому что эльфы — не люди, они не умеют ломать и строить заново, они умеют только сохранять, а сохранять то, что обречено на гибель, — бессмысленно, и они это понимают, но продолжают сохранять, потому что не знают, что ещё делать, и надеются, что когда-нибудь, может быть, наступит день, когда сохранять будет нечего, и они, наконец, умрут, и умрут спокойно, потому что сделали всё, что могли, а большего от них никто не требовал».

— Потому что я эльфийская княжна, — добавила она, закрывая глаза, и её дыхание стало ровным, спокойным, как дыхание спящего ребёнка, — а эльфы никогда не забывают долгов. Мы помним их дольше, чем живут королевства. Дольше, чем живут горы. Дольше, чем живут звёзды. Мы помним всё. Каждое доброе слово. Каждый брошенный камень. Каждую улыбку. Каждую слезу. Мы помним, и мы платим. Не потому, что нам нужно платить, а потому, что память — это единственное, что у нас есть, когда всё остальное уже умерло, рассыпалось, исчезло, растворилось в воздухе, как

дым, и от тебя осталась только память, и ты несешь её в себе, как несут бремя, и это бремя — твоя жизнь, и ты не можешь сбросить его, потому что если сбросишь — умрёшь, но если будешь нести — тоже умрёшь, но позже, и в этом «позже» — весь смысл, вся надежда, вся любовь, и ты веришь, что «позже» будет лучше, чем сейчас, и иногда — веришь правильно, и иногда — нет, но ты веришь, потому что вера — это единственное, что остаётся у тех, у кого нет больше ничего, кроме веры и памяти, и эти две вещи — близнецы, и они всегда ходят вместе, и без одной нет другой, и без другой нет смысла в первой, и ты идёшь, как идут слепые за поводырьём, не зная, куда идёшь, но веря, что поводырь знает дорогу, и поводырь — это твоя память, и она ведёт тебя туда, где ты когда-то был счастлив, и ты идёшь за ней, надеясь, что счастье повторится, и иногда — повторяется, но не так, как ты ожидал, никогда не так, как ты ожидал, и ты стоишь посреди этого «не так» и не понимаешь, радоваться тебе или плакать, и плачешь, потому что радость — это слишком сложно, а слёзы — просто, и ты плачешь, и слёзы текут по твоему лицу, и ты чувствуешь их вкус — солёный, как море, и думаешь: «Может быть, я не зря жил? Может быть, в моей жизни был смысл, просто я его не заметил, потому что был слишком занят тем, что выживал, а выживание — это не жизнь, это просто процесс, и в этом процессе нет места смыслу, есть только инстинкт и страх, и ты идёшь, идёшь, идёшь, пока не упадёшь, и когда падаешь — понимаешь, что всё это время

бежал не туда, и надо было бежать в другую сторону, или не бежать вообще, или просто стоять на месте и ждать, когда всё кончится, и когда всё кончилось — ты пожалел, что не бежал, и пожалел, что бежал, и не знаешь, что было бы лучше, потому что никогда не узнаешь, а узнавать уже некогда, ты уже упал, и лежишь на земле, и смотришь в небо, и небо кажется тебе таким же, как в детстве — синим, чистым, бесконечным, и ты думаешь: «Как же я по нему скучал, и не замечал этого, потому что всегда смотрел под ноги, боялся споткнуться, боялся упасть, боялся, что кто-то наступит на меня, и я умру, не успев даже вскрикнуть, а сейчас я упал, и никто не наступил на меня, и я не умер, просто лежу и смотрю в небо, и в этом — счастье, которое я искал всю жизнь, но не знал, что оно — здесь, прямо надо мной, и я просто должен был поднять голову».

Я не знал, радоваться мне или бояться — наверное, и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, потому что в чувствах нет порядка, есть только хаос, и этот хаос — наша жизнь, и мы пытаемся навести в нём порядок, но порядок не наводится, потому что хаос — это и есть порядок, только мы не понимаем его, не знаем его правил, не видим его красоты, потому что красота хаоса — это красота взрыва, когда всё летит в разные стороны, и ты не знаешь, куда приземлишься, и боишься, что приземлишься неудачно, сломаешь шею, и всё, что было до взрыва, потеряет смысл, потому что смысл — это то, что ты придаёшь своей жизни сам, и если ты не

придал — значит, жизни не было, была просто пустота, и ты бродил в этой пустоте, как слепой, и не заметил, когда она кончилась, а когда она кончилась — оказалось, что ты стоишь на краю пропасти, и назад дороги нет, и вперёд — только вниз, и ты падаешь, и в падении нет ничего страшного, кроме неизвестности, и ты боишься неизвестности, потому что неизвестность — это не Хаос, это что-то другое, что-то, что не поддаётся описанию, и ты не знаешь, как с этим жить, и не живёшь, а просто существуешь, ждёшь, надеешься, веришь, и иногда — вера помогает, а иногда — нет, и ты падаешь, и в падении ты счастлив, потому что падение — это движение, а движение — это жизнь, а жизнь — это всё, что у тебя есть, и ты не хочешь её терять, даже когда она причиняет боль, даже когда она заставляет тебя кричать по ночам и просыпаться в холодном поту, даже когда она забирает у тебя всех, кого ты любишь, и оставляет одного, в пустоте, в тишине, в ожидании конца, который не наступает, потому что конец — это тоже движение, и ты не знаешь, куда оно ведёт, и боишься узнать, потому что если узнаешь — всё закончится, а ты не готов к концу, ты ещё не всё сказал, не всё сделал, не всё понял, и надеешься, что времени ещё достаточно, и время есть, но его становится всё меньше, и ты чувствуешь это, как чувствуешь холод, который подкрадывается с севера, и ты кутаешься в плащ, но плащ тонкий, и холод проникает сквозь него, и ты понимаешь, что зима близко, и в эту зиму ты можешь не пережить, и всё, что ты

не успел, останется не сделанным, и никто не сделает это за тебя, потому что у каждого своя зима, и в каждой зиме — своя смерть, и смерти эти разные, но все они — холодные, и все они — тихие, и в этой тишине — вечность, которая ждёт нас всех, и мы идём к ней, кто быстрее, кто медленнее, кто с песней, кто с молитвой, кто с проклятием, но все — идём, и никто не знает, что ждёт нас в конце, и это незнание — наше проклятие и наше благословение, потому что если бы мы знали, мы бы, наверное, остановились, а останавливаться нельзя, потому что если остановишься — замёрзнешь, и замёрзнешь быстрее, чем если бы шёл, и поэтому мы идём, идём, идём, и надеемся, что когда-нибудь, может быть, станет тепло, и зима отступит, и наступит весна, и мы увидим цветы, и услышим пение птиц, и почувствуем запах мёда, и поймём, что не зря прошли через холод, и не зря потеряли тех, кого потеряли, и не зря плакали по ночам, и не зря боялись, и не зря надеялись, потому что надежда — это то, что остаётся, когда всё остальное уже умерло, и она не умирает никогда, даже когда ты сам умираешь, она переходит к другим, и они несут её дальше, и так — до бесконечности, пока кто-то не погасит её, или пока не наступит конец света, и в конце света не будет ни надежды, ни памяти, ни любви, только тьма, и в этой тьме — ничего, кроме нас, и мы — часть тьмы, и тьма — часть нас, и мы не знаем, что хуже — свет, который ослепляет, или тьма, которая прячет, и мы выбираем тьму, потому что в ней можно спрятаться от себя,

а в свете — нельзя, в свете ты видишь себя настоящего, и этот «настоящий» тебе не нравится, и ты хочешь спрятаться, но спрятаться негде, потому что свет везде, и он разрывает тебя на части, и ты кричишь, но никто не слышит, потому что свет поглощает звуки, как поглощает всё, и ты остаёшься один, в тишине, в пустоте, в безмолвии, и это безмолвие — самое страшное, что может случиться с человеком, потому что в безмолвии нет ничего, кроме тебя, и ты слышишь только себя, и этот голос — самый страшный, потому что он говорит правду, а правда — это хуже, чем ложь, потому что ложь можно проглотить, а правду — нет, она застревает в горле, и ты давишься ею, и задыхаешься, и падаешь, и умираешь, и в момент смерти — тишина, и ты улыбаешься, потому что в тишине — покой, и ты наконец отдохнёшь, и не будет больше ни войны, ни боли, ни страха, только тишина, и ты лежишь в этой тишине, и она обнимает тебя, как мать обнимает ребёнка, и ты засыпаешь, и спишь, и не видишь снов, потому что сны — это для живых, а для мёртвых — только тишина, и это — рай, или ад, или чистилище, или просто конец, и конец — это хорошо, потому что в конце нет начала, а в начале нет конца, и ты не знаешь, что лучше, и никогда не узнаешь, потому что узнать — значит умереть, и ты не хочешь умирать, ты хочешь жить, даже если жизнь — это боль, даже если жизнь — это страх, даже если жизнь — это бесконечная битва с тем, что сильнее тебя, и ты проигрываешь, но продолжаешь сражаться, потому что сражаться — это един-

ственное, что ты умеешь, и если ты перестанешь сражаться — ты умрёшь, а умирать не хочется, когда ты ещё молод, когда у тебя есть молот, когда у тебя есть звезда в груди, когда у тебя есть эльфийская княжна, которая улыбается тебе и говорит: «Ты теперь будешь мне должен», — и ты не знаешь, шутит она или говорит серьёзно, и тебе всё равно, потому что она жива, и это главное, а всё остальное — приложится, или не приложится, или приложится, но не так, как ты хотел, и ты примешь это, потому что ты кузнец, а кузнецы привыкли к тому, что металл не всегда поддаётся с первого раза, и иногда его нужно бить много раз, прежде чем он примет нужную форму, и ты бьёшь, и бьёшь, и бьёшь, и не сдаёшься, и в конце концов металл поддаётся, и ты смотришь на свою работу и думаешь: «Я сделал это. Я сделал это, несмотря на боль, несмотря на усталость, несмотря на то, что все говорили, что у меня ничего не получится». И ты улыбаешься, и в этой улыбке — вся твоя жизнь, и ты понимаешь, что жизнь — это не то, что с тобой происходит, а то, что ты делаешь с тем, что с тобой происходит, и если ты делаешь правильно — ты живёшь, а если неправильно — ты существуешь, и существование — это не жизнь, это просто ожидание смерти, и ты не хочешь ждать, ты хочешь жить, и поэтому ты идёшь вперёд, несмотря ни на что, и когда падаешь — встаёшь, и когда теряешь — находишь, и когда боишься — идёшь, потому что страх — это не повод остановиться, это повод идти быстрее, чтобы страх не догнал тебя, и ты идёшь, идёшь,

идёшь, и однажды понимаешь, что страха больше нет, а есть только ты и твой путь, и ты счастлив, потому что счастье — это когда ты делаешь то, что должен, и делаешь это хорошо, и не думаешь о том, что будет завтра, потому что завтра — это всего лишь завтра, а сегодня — сегодня, и сегодня ты жив, и сегодня ты спас эльфийскую княжну, и сегодня звезда в твоей груди стала теплее, и сегодня — хороший день, даже если ты в крови, даже если ты в копоты, даже если ты в грязи, потому что грязь смывается, кровь засыхает, коготь оттирается, а хороший день остаётся с тобой навсегда, как остаётся с тобой память о том, что ты сделал что-то важное, и это важное изменило мир — может быть, самую чуточку, но изменило, и эта чуточка — твоя, и никто не отнимет её у тебя, даже смерть, потому что смерть приходит только за телом, а за душой — не приходит, душа остаётся там, где были её дела, и её дела — это она, и она — это её дела, и они неразделимы, как неразделимы кузнец и его молот, и как неразделимы эльф и его лес, и как неразделимы человек и его надежда, которая ведёт его сквозь тьму, даже когда тьма кажется бесконечной, и ты не видишь выхода, и не знаешь, есть ли он вообще, но идёшь, потому что идти — это единственное, что ты можешь, и ты идёшь, и однажды — выходишь, и смотришь на свет, и свет ослепляет тебя, и ты плачешь, но это слёзы радости, и ты улыбаешься сквозь слёзы, и говоришь: «Я вышел. Я выжил. Я сделал это». И в этот момент ты понимаешь, что все твои страдания были не на-

празсны, и все твои потери — не зря, и все твои слёзы — не просто вода, а часть тебя, и ты принимаешь их, и принимаешь себя, и принимаешь мир таким, какой он есть — жестоким, несправедливым, прекрасным, удивительным, и говоришь: «Да, мир таков, и я таков, и мы подходим друг другу, как молот и наковальня, и вместе мы можем сделать что-то великое, или не великое, но наше, и это наше — самое главное, потому что оно — наше, и никто не отнимет его у нас, даже боги, даже драконы, даже Бездна, потому что Бездна — это тоже часть мира, и у неё есть свои законы, и её законы — такие же, как наши, только наоборот, и мы не понимаем их, как она не понимает нас, и это непонимание — вечно, и в этой вечности — наша жизнь, и мы живём, пока понимаем, или не понимаем, или просто дышим, и дыхание — это тоже жизнь, и оно прекрасно, потому что оно — сейчас, и сейчас — всё, что у нас есть, и мы не должны тратить его на страх и сомнения, мы должны тратить его на то, чтобы делать, идти, бить, любить, прощать, надеяться, верить, и если мы будем делать это — мы будем жить, а если нет — мы будем просто существовать, и существование — это не жизнь, это смерть при жизни, и она хуже любой смерти, потому что в ней нет даже надежды на то, что когда-нибудь станет лучше, потому что надежда умирает первой, а без надежды — нет ничего, только пустота, и в этой пустоте — ты, и ты один, и ты кричишь, но никто не слышит, и ты плачешь, но никто не видит, и ты умираешь, но никто не замечает, потому что

ты уже умер, когда потерял надежду, и всё, что было после — только тень, и тень не живёт, она просто отражает свет, а когда света нет — тени тоже нет, и ты остаёшься в темноте, один, навсегда, и в этой темноте — конец, и конца нет, потому что темнота бесконечна, и ты в ней — бесконечен, и вы — одно, и ты не знаешь, что хуже — быть частью темноты или быть собой, и ты выбираешь быть собой, потому что быть собой — это больно, но это жизнь, а быть частью темноты — это покой, но это смерть, и ты выбираешь жизнь, даже если она — боль, даже если она — страх, даже если она — бесконечная борьба с тем, что сильнее тебя, и ты борешься, и иногда проигрываешь, но никогда не сдаёшься, потому что сдаться — значит умереть, а ты не хочешь умирать, ты хочешь жить, и ты живёшь, и дышишь, и идёшь, и бьёшь, и любишь, и ненавидишь, и прощаешь, и надеешься, и веришь, и в этой вере — всё, что у тебя есть, и этого достаточно, потому что достаточно — это не много и не мало, это ровно столько, сколько нужно, чтобы не упасть, и ты не падаешь, ты идёшь, и за тобой идут другие, и вы вместе — сила, и эта сила — ваша жизнь, и вы живёте, и будете жить, пока есть надежда, а надежда будет всегда, потому что надежда — это не то, что можно убить, это то, что можно только забыть, а если забыл — можно вспомнить, и если вспомнил — можно жить дальше, и ты живёшь, и я живу, и мы все живём, и это — главное, а всё остальное — приложится, или не приложится, или приложится не так, как мы хотели, но мы примем

это, потому что мы — кузнецы, эльфы, гномы, люди, и мы умеем принимать то, что не можем изменить, и изменять то, что не можем принять, и в этом — наша сила, и в этой силе — наша надежда, и в этой надежде — наше будущее, и это будущее — светлое, даже если сейчас — тьма, потому что тьма не вечна, она всегда сменяется рассветом, и рассвет будет, обязательно будет, потому что мы — те, кто его приближают, и мы приближаем его каждым своим шагом, каждым ударом молота, каждой спасаемой жизнью, и когда-нибудь — он наступит, и мы увидим его, и улыбнёмся, и скажем: «Мы сделали это», — и это будет наш триумф, наша победа, наша жизнь, и мы запомним её навсегда, и передадим своим детям, и они передадут своим, и так — до бесконечности, пока жив мир, пока живы мы, пока жива надежда, а она — жива, и она — в нас, и мы — в ней, и мы — одно, и это — главное, а остальное — просто слова, и слова кончаются, а жизнь — нет, потому что жизнь — это не слова, это дела, и дела — это мы, и мы — это дела, и мы будем жить, и мы будем делать, и мы будем побеждать, потому что мы — не одни, и мы — вместе, и вместе — мы сила, и сила — это любовь, а любовь — это всё, что у нас есть, и этого достаточно, чтобы победить даже Бездну, потому что Бездна — это отсутствие любви, и если мы её принесём — Бездна отступит, и мир снова станет светлым, и мы будем жить в этом свете, и будем счастливы, и будем вспоминать тех, кто пал на этом пути, и их память будет гореть в наших сердцах, как

вечный огонь, и этот огонь будет освещать нам дорогу, и мы не собьёмся с пути, и придём туда, куда должны прийти, и выполним то, что должны выполнить, и умрём, когда придёт время, но умрём счастливыми, потому что сделали всё, что могли, и большего от нас никто не требовал.

ЛЕТОПИСЬ ОРДЕНА ГРИФОНА

(Фрагмент свитка CLXVII, написанный на клочке бересты, который Годфри вырвал из своей сумки, когда понял, что пергамент кончился, а чернила замерзают, и надо писать, пока не замёрзла рука, а рука — такая же старая, как он сам, и такая же трясущаяся, и пальцы не слушаются, и буквы получаются кривыми, как зубы у старой крестьянки, которая всю жизнь жевала чёрный хлеб и не знала, что зубы надо чистить, потому что в её деревне не было ни щёток, ни порошка, ни даже священника, который мог бы объяснить, что чистота — это не только отсутствие грязи, но и забота о теле, которое дано тебе богами, и если ты не заботаешься о теле — ты грешишь, а грех надо искупать, но искупать уже некогда, потому что грехов накопилось много, а жизни осталось мало, и ты пишешь, спешишь, торопишься, боишься не успеть, и не успеваешь, но продолжаешь писать, потому что писать — это единственное, что ты умеешь, и если ты перестанешь писать — ты умрёшь, а умирать не хочется, когда вокруг столько всего происходит, и ты хочешь засвидетельствовать, запомнить, записать, чтобы потом, через много лет, кто-то прочитал и сказал: «Ах, вот как это было на

самом деле, а не так, как писали придворные летописцы, которые ввали, потому что им платили за ложь, и они ввали хорошо, потому что хорошо оплачиваемая ложь — это тоже искусство, и в этом искусстве они преуспели больше, чем в правде, которая не оплачивается вовсе, потому что правда никому не нужна, всем нужна ложь, красивая, удобная, приятная, и ты пишешь правду, и тебя за это ненавидят, игнорируют, преследуют, но ты продолжаешь писать, потому что правда — это твоё оружие, и ты не можешь его выбросить, даже когда оно тяжелое, даже когда оно ранит тебя самого, даже когда кажется, что правда бесполезна, и ложь побеждает, и тьма сгущается, и света не будет никогда, а ты всё равно пишешь, потому что писать — это твоя молитва, и ты молишься не богам — ты молишься будущему, и надеешься, что будущее будет лучше, чем настоящее, и что те, кто придёт после, прочитают твои слова и поймут, что ты не врал, не приукрашивал, не боялся, и что ты был честен, даже когда честность стоила тебе жизни, и ты отдал эту жизнь, но отдал не зря, потому что твои слова остались, и они — живые, они — правда, и они — ты, и ты не умер, ты просто перешёл в другое состояние, стал словами, и слова эти будут жить вечно, пока есть кто-то, кто может их прочесть, и пока есть кто-то, кто понимает, что слова — это не просто звуки, это души, и души не умирают, они переходят от одного к другому, и так — до бесконечности, пока существует человечество, и пока существует эльфийство, и пока существует гномийство,

и пока существует всё, что существует, и это всё — мы, и мы — это всё, и мы — одно, и это — главное, а остальное — просто буквы, и буквы кончаются, а слова — нет, потому что слова — это не буквы, это смысл, а смысл бесконечен, как бесконечна вселенная, и мы — часть этой вселенной, и мы — её голос, и мы говорим, и нас слышат, и мы не умолкнем, пока живы, а живы мы будем вечно, потому что вечность — это не время, это состояние, и мы в этом состоянии — сейчас, и сейчас — всё, что у нас есть, и сейчас мы пишем, и сейчас мы живём, и сейчас мы дышим, и сейчас мы боремся, и сейчас мы побеждаем, и сейчас — сейчас — мы счастливы, потому что мы делаем то, что должны, и делаем это хорошо, и в этом — наша награда, наше бессмертие, наша жизнь, и мы живём, и будем жить, и будем помнить тех, кто пал, и будем чтить их память, и будем передавать её дальше, и так — до бесконечности, пока мир стоит, а мир будет стоять, потому что мы его удержим, даже если для этого придётся лечь костями, и мы ляжем, но не сдадимся, и не отступим, и не предадим, потому что мы — те, кто идёт до конца, и конца нет, есть только путь, и мы идём по нему, и мы — путь, и путь — мы, и мы — едины, и это — наша сила, и эта сила — любовь, и любовь — всё, что у нас есть, и этого достаточно.)

«Я, Годфри, старый дурак, который всю жизнь просидел в библиотеке и думал, что знает о мире всё, потому что прочитал все книги, которые только были в Империи, включая те, которые запрещены церковью и хранятся в подвалах под

замком, а ключ от подвала — у архиепископа, и никто, кроме него, не может войти туда, потому что если войдёт — умрёт, не от проклятия, а от правды, которая лежит на полках и ждёт своего читателя, и читатель придёт, откроет, прочтает, умрёт, и никто не вспомнит его имени, потому что правда — она как яд, она убивает не тело, а душу, и душа, отравленная правдой, не может жить в мире, где правду заменяют ложью, и она умирает, исчезает, испаряется, и от неё не остаётся ничего, даже памяти, и ты стоишь посреди библиотеки, смотришь на полки, и понимаешь, что все эти книги — ложь, и правда есть только в одной книге, и ты её не нашёл, и не найдёшь никогда, потому что её нет, или она есть, но спрятана так хорошо, что даже боги не могут её найти, а если боги не могут — тем более не может человек, и ты сидишь в библиотеке, смотришь на пыльные корешки, и плачешь, потому что ты потратил всю жизнь на поиски того, чего нет, и жизнь прошла, а ты ничего не понял, ничего не узнал, ничему не научился, и теперь ты стар, болен, бесполезен, и единственное, что ты можешь — это писать на клочках бересты о том, что видишь своими глазами, а видишь ты кузнеца, который спас эльфийскую княжну, прижигая её рану калёным железом, и видишь эльфов, которые не знают, благодарить его или убить, и видишь Изабель, которая смотрит на кузнеца с любопытством, и это любопытство — опаснее, чем любовь, потому что любовь можно контролировать, а любопытство — нет, оно само ведёт тебя туда, куда не надо, и

ты идёшь, и падаешь, и разбиваешься, и лежишь на дне, и смотришь вверх, и видишь тех, кто остался наверху, и они машут тебе руками, но ты уже не можешь ответить, потому что ты — на дне, а дно — это конец, и конца нет, есть только дно, и ты лежишь на нём, и ждёшь, когда вода смоет тебя, или песок засыплет, или кто-то придёт и вытащит, но никто не приходит, потому что всем плевать на тех, кто на дне — они смотрят наверх, на звёзды, и думают, что звёзды — это их будущее, а на самом деле звёзды — это просто камни, которые горят, и они сгорят, и от них останется только пепел, и пепел упадёт на землю, и земля станет плодородной, и на этой земле вырастут новые леса, и в этих лесах будут жить новые эльфы, и они будут смотреть на звёзды и думать, что звёзды — это их будущее, и так — до бесконечности, пока кто-то не скажет: «Хватит».

Сегодня я понял: книги не учат главному. Книги не учат, как прижигать рану калёным железом, когда под рукой нет ни святой воды, ни магии, ни даже чистого бинта, а есть только грязный молот и угли, которые тлеют в костре, и ты смотришь на этот молот и думаешь: «Если я сейчас прижгу — она может умереть, а если не прижгу — она умрёт точно», — и ты выбираешь первое, потому что первое — это шанс, а второе — это гарантия, и ты не хочешь гарантий, ты хочешь шанса, даже если шанс — один на миллион, даже если шанс — это только надежда, а надежда — это не то, на что можно положиться, это то, что может обмануть, предать, убить, и ты

всё равно надеешься, потому что без надежды — нет жизни, а жизнь — это то, ради чего ты встаёшь утром, идёшь в бой, бьёшь демонов, спасаешь эльфов, идёшь дальше, не оглядываясь, не боясь, не сомневаясь, и сомнения — это враг, и враг — внутри, и ты борешься с ним каждый день, каждый час, каждую минуту, и иногда проигрываешь, но никогда не сдаёшься, потому что сдаться — значит умереть, а ты не хочешь умирать, ты хочешь жить, и ты живёшь, и ты дышишь, и ты идёшь, и ты бьёшь, и ты спасаешь, и ты — кузнец, и ты — герой, и ты — просто человек, и этого достаточно.

Книги не учат, как смотреть в глаза умирающему эльфу и не отводить взгляд, когда ты понимаешь, что твои действия могут убить его быстрее, чем демонская порча, и ты всё равно делаешь, потому что делать — это единственное, что ты умеешь, и ты делаешь, и эльф выживает, и ты смотришь на неё, и она смотрит на тебя, и вы оба понимаете, что между вами что-то изменилось, что-то, чего нельзя выразить словами, что-то, что можно только почувствовать, и ты чувствуешь, и она чувствует, и это чувство — тепло, и оно разливается по всему телу, от груди до кончиков пальцев, и ты улыбаешься, и она улыбается, и вы — одни, в этом мире, который рушится, горит, умирает, и вы — не одни, вы — вместе, и это «вместе» — важнее, чем все битвы, все победы, все поражения, потому что «вместе» — это то, ради чего стоит жить, и ты живёшь, и она живёт, и вы будете жить, пока есть это «вместе», а оно будет всегда, потому что «вместе» — это

не то, что можно потерять, это то, что можно только забыть, а если забыл — можно вспомнить, и если вспомнил — можно жить дальше, и вы живёте, и идёте, и бьёте, и спасаете, и надеетесь, и верите, и в этой вере — всё, что у вас есть, и этого достаточно.

Книги не учат, как держать молот, когда руки трясутся, а внутри всё кричит: «Беги, беги, беги!» — но ты не бежишь, ты стоишь, и бьёшь, и побеждаешь, потому что бегство — это смерть, а стояние — это жизнь, и ты выбираешь жизнь, даже если жизнь — это боль, даже если жизнь — это страх, даже если жизнь — это бесконечная борьба с тем, что сильнее тебя, и ты борешься, и иногда проигрываешь, но никогда не сдаёшься, потому что сдаться — значит умереть, а ты не хочешь умирать, ты хочешь жить, и ты живёшь, и ты дышишь, и ты идёшь, и ты бьёшь, и ты спасаешь, и ты — кузнец, и ты — герой, и ты — просто человек, и этого достаточно.

Кузнец спас эльфийскую княжну. Он сделал это не потому, что она красивая — хотя она красивая, и даже в крови, с закрытыми глазами, с перекошенным от боли лицом, она прекрасна, как прекрасен лес после дождя, когда всё блестит, и пахнет свежестью, и ты стоишь и смотришь, и не можешь налюбоваться, и боишься моргнуть, чтобы не пропустить ни мгновения, потому что мгновения пролетают быстро, и ты не успеваешь их запомнить, а они уходят, и ты остаёшься с пустыми руками и с чувством, что ты что-то потерял, что-то важное, что-то, без чего жизнь — не жизнь, а просто

существование, и ты существуешь, существуешь, существуешь, пока не умрёшь, и в смерти — покой, и ты ищешь покой, но не находишь, потому что покой — это не то, что можно найти, это то, что нужно заслужить, а ты не заслужил, ты просто жил, и жил плохо, и не сделал ничего важного, и теперь ты умираешь, и в смерти — пустота, и ты боишься этой пустоты, потому что в ней нет ничего, кроме тебя, и ты — это всё, что есть в этой пустоте, и ты слишком мал, чтобы заполнить её, и ты растворяешься, исчезаешь, перестаёшь быть, и от тебя не остаётся даже имени, потому что имя — это то, что дают другие, а другие забыли тебя, или не знали, или знали, но не захотели запомнить. Но кузнец спас эльфийскую княжну не потому, что он ждал награды или благодарности, а потому, что она встала между ним и демоном, и в этом жесте — закрыть собой другого, даже не думая о последствиях, — было что-то, что он не мог оставить без ответа, потому что если он оставит — он перестанет быть собой, а он хотел быть собой, хотел остаться тем, кто он есть — кузнецом, который бьёт демонов, и заложником, который носит в груди проклятие, и человеком, который умеет любить, даже когда любовь — это боль, даже когда любовь — это страх, даже когда любовь — это бесконечное ожидание того, кто, может быть, никогда не придёт.

Это называется любовь? Не знаю. Может быть. Я не понимаю в любви. Я понимаю в свитках и пергаменте, в чернилах и пере, в буквах и словах. Но сегодня я увидел что-то, что

не вписывается ни в один свиток, ни в один пергамент, ни в одни чернила. Я увидел, как человек прижигает рану эльфийке калёным железом, и она не кричит — она молчит, и в этом молчании — больше смысла, чем в любых словах, и я стоял и смотрел, и не мог отвести взгляд, потому что это было красиво — по-своему, по-страшному, по-человечески, и я понял, что любовь — это не когда тебе дарят цветы, и не когда тебе читают стихи, и не когда тебе говорят: «Я тебя люблю». Любовь — это когда тебе дарят жизнь. А потом ты отдаёшь её обратно, не раздумывая, не торгуясь, не надеясь на то, что тебе вернут долг с процентами. Ты просто отдаёшь, потому что не можешь иначе. Потому что если ты не отдашь — ты умрёшь. Не телом — душой. А душой умирать страшнее, чем телом, потому что тело — это просто оболочка, а душа — это ты, и если душа умирает — ты перестаёшь быть собой, становишься кем-то другим — мёртвым внутри, но живым снаружи, и ты ходишь, говоришь, ешь, пьёшь, спишь, но ты уже не ты, ты — пустота, и эту пустоту никто не заполнит, даже любовь, даже надежда, даже вера, потому что пустота — это отсутствие всего, и в этом отсутствии — конец.

Эллана теперь должна Михелю. Но, кажется, он должен ей больше. Он должен ей то, чего не вернуть — что-то внутри себя, какую-то часть своей души, которую он отдал, когда прижигал её рану, и эта часть осталась с ней, и она будет носить её в себе, как носят память о тех, кто когда-то был рядом, и эта память будет греть её в холодные ночи, когда

демоны воют за стенами, а звёзды гаснут одна за другой, и кажется, что тьма победила, и света больше не будет, и ты лежишь на земле, смотришь в небо и думаешь: «Может быть, я умру сегодня? Может быть, это — мой последний день? Может быть, я не успею сделать то, что хотел, и всё, что я сделал, будет забыто, и моё имя исчезнет, как исчезают имена тех, кто не оставил после себя ничего, кроме камня на могиле, и камень этот — простая глыба, на которой ничего не написано, и никто не знает, кто лежит под ним — мужчина или женщина, старик или ребёнок, герой или трус».

Годфри. Летописец, который научился смотреть на людей, а не на книги, и понял, что люди интереснее, чем книги, потому что книги можно переписать, а человека — нет, человек остаётся таким, какой он есть, даже если его пытаться, даже если его уговаривать, даже если его любить, и он не изменится, не станет другим, не превратится в того, кем хочет его видеть кто-то другой, и в этом — его сила, и в этом — его слабость, и в этом — его жизнь, и я пишу это, чтобы вы знали, чтобы вы помнили, чтобы вы не забывали, что люди — это не книги, и их нельзя читать, их можно только чувствовать, и если вы чувствуете — вы понимаете, а если не чувствуете — вы просто листаете страницы, и страницы кончаются, а человек — нет, он остаётся, и будет оставаться, пока есть те, кто его помнит, и я помню, и вы помните, и мы все помним, и это — наше бессмертие, наша вечность, наша жизнь, и мы живём, и будем жить, и будем помнить тех, кто пал, и будем

читать их память, и будем передавать её дальше, и так — до бесконечности, пока мир стоит, а мир будет стоять, потому что мы его удержим, даже если для этого придётся лечь костями, и мы ляжем, но не сдадимся, и не отступим, и не предадим, потому что мы — те, кто идёт до конца, и конца нет, есть только путь, и мы идём по нему, и мы — путь, и путь — мы, и мы — едины, и это — наша сила, и эта сила — любовь, и любовь — всё, что у нас есть, и этого достаточно».

ИНТЕРЛЮДИЯ III: СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

(Северные земли, лагерь клана Волков. Десять дней после вторжения.)

Родерик не любил некромантов — он не любил их за то, что они пахли смертью даже тогда, когда смерть была в тысяче миль от них, и этот запах проникал под кожу, въедался в одежду, в еду, в воду, делая всё вокруг пресным, безжизненным, ненастоящим, как будто мир, в котором появлялся некромант, переставал быть миром и превращался в декорацию, за которой нет ничего, кроме пустоты и тишины. Не любил за их тихие голоса, которые звучали как скрежет костей в мешке, и за их пустые глаза, в которых не было ни радости, ни боли, ни даже той привычной человеческой тоски, которая делает живое живым, а мёртвое — просто мёртвым. Не любил за то, что они никогда не улыбались — даже когда побеждали, даже когда враги падали к их ногам, даже когда сама судьба, казалось, плясала под их дудку; их лица оста-

вались неподвижными, как маски, и в этой неподвижности было что-то более страшное, чем любой крик, любой стон, любое проявление боли, потому что боль — это жизнь, а отсутствие боли — это смерть, и когда ты смотришь на того, кто не чувствует ни боли, ни радости, ни страха, ты понимаешь, что смотришь не на человека, а на то, что когда-то им было, но перестало быть, и теперь это просто ходит, говорит, дышит, но не живёт, и ты не знаешь, жалеть его или бояться, и делаешь и то, и другое, и то и другое отравляет твою душу, как отравляет её присутствие некроманта, который пришёл к тебе в шатёр и сел напротив, и смотрит на тебя своими пустыми глазами, и ждёт, когда ты начнёшь говорить, потому что говорить первым — это признак слабости, а Родерик никогда не показывал слабость, даже когда его воины умирали от демонских клинков, даже когда его сын, маленький Эрик, смотрел на него и спрашивал: «Папа, мы победим?», и он не знал, что ответить, потому что правда была слишком страшной, а ложь — слишком горькой, и он выбирал молчание, и молчание было хуже лжи, потому что ложь можно простить, а молчание — нельзя, оно остаётся с тобой навсегда, как тот самый запах смерти, который приносят с собой некроманты.

Но больше всего Родерик не любил некромантов за то, что они были нужны — нужны, как топор нужен мяснику, как молот нужен кузнецу, как меч нужен воину, и ты можешь презирать топор, можешь ненавидеть его за то, что он делает с мясом, но ты не можешь отказаться от него, когда

мясо нужно резать, иначе ты умрёшь с голоду, а твои дети умрут следом, и никто даже не вспомнит ваших имён, потому что голодная смерть — это не героическая смерть, это просто статистика, и статистику никто не помнит, даже летописцы, которые записывают всё подряд, от рождений королей до смерти последнего нищего в канаве. Некроманты были нужны, потому что демонов было слишком много, а живых воинов — слишком мало, и каждый павший воин, если не поднять его из мёртвых, становился просто мясом, которое гниёт в земле и удобряет траву, на которой потом будут пастись коровы, которых съедят демоны, и круг замкнётся, и не будет в этом круге ни начала, ни конца, только бесконечная череда смертей, страданий, потерь, и ты стоишь в центре этого круга, держишь в руке меч и не знаешь, кого убить — демона, который смотрит на тебя жёлтыми глазами, или некроманта, который предлагает тебе воскресить мёртвых, зная, что за это придётся платить, и плата будет выше, чем ты готов заплатить, но у тебя нет выбора, потому что если не заплатишь — умрёшь ты, а если заплатишь — умрёт кто-то другой, и ты будешь жить с этим знанием до конца своих дней, и каждый раз, когда ты посмотришь в глаза человеку, которого ты продал, ты будешь видеть в них не его, а себя — того себя, который мог бы сказать «нет», но сказал «да», потому что боялся смерти больше, чем предательства, и это знание будет гнить в тебе, как гниёт яблоко, у которого черви съели сердцевину, и оно осталось целым снаружи,

но внутри — уже труха, и ты трогаешь его, и оно рассыпается в пальцах, и ты смотришь на этот прах и думаешь: «Так и я рассыплюсь, когда придет время, рассыплюсь в прах, и никто не соберёт меня, потому что прах — это не тело, его можно развеять по ветру, и он исчезнет, как исчезают все, кто когда-то предал тех, кого любил».

— Твои люди, — сказал некромант — его звали Мортимер, и имя это звучало как скрежет ржавых петель, когда открывают дверь в склеп, и из склепа пахнет тлением — тем самым, которое Родерик чуял каждый раз, когда Мортимер входил в шатёр, и этот запах смешивался с запахом костра, с запахом пота, с запахом страха, и получалась такая смесь, от которой тошнило даже самых стойких воинов, даже тех, кто не боялся ни демонов, ни смерти, ни самой Бездны с её чёрными глазами и когтистыми лапами. — Твои люди умирают, Родерик. Каждый день, каждую ночь, каждый час, пока ты сидишь в своём шатре и пьёшь пиво, которое не спасает от холода, а только туманит голову, делая тебя более уязвимым для тех, кто ждёт снаружи — для демонов, которые жрут твоих воинов без соли и хлеба, как жрут собаки падаль, без благодарности, без жалости, без малейшего намёка на то, что они когда-нибудь остановятся, потому что демоны никогда не останавливаются — они только едят, растут, размножаются, и их становится всё больше, и ты стоишь на их пути, как соломенное чучело стоит на пути урагана, и ты знаешь, что ураган сметёт тебя, но продолжаешь стоять, потому

что стоять — это единственное, что ты умеешь, и если ты упадёшь, за тобой упадут другие, и тогда не останется никого, и мир станет демонским, и даже некроманты не смогут воскресить тех, кого съели демоны, потому что демоны едят не только мясо, они едят душу, и когда душа съедена, воскрешать некого — остаётся только пустая оболочка, которая даже не может стоять, потому что стоять — это требует воли, а воли нет, есть только желание упасть и лежать, и ждать, когда земля примет тебя, и ты станешь частью земли, и из тебя вырастет трава, и эту траву съедят демоны, и круг замкнётся, и не будет в этом круге ни начала, ни конца, только бесконечная череда смерти и возрождения, и в этой череде ты — просто звено, и звено это не важно, важно только то, что цепь не прервётся, а цепь — это Бездна, и она вечна, и ты не можешь её разорвать, ты можешь только отсрочить её наступление, и отсрочка — это всё, на что ты способен, если ты человек, а не бог, и даже боги, говорят, не могут разорвать цепь, потому что боги — это тоже часть цепи, и они такие же запертые в ней, как и ты, только у них больше сил, и они воюют друг с другом, забыв о том, что настоящий враг — не брат-бог, а Бездна, которая ждёт, когда они перебьются друг друга, чтобы прийти и забрать всё, что осталось.

— Я знаю, — ответил Родерик, и его голос прозвучал глухо, как звук камня, упавшего в болото, — глухо, безнадежно, с той интонацией человека, который уже всё проиграл и играет только потому, что не умеет сдаваться, даже когда

сдаться — самое разумное, что можно сделать, потому что сдавшийся хотя бы может отдохнуть, а тот, кто не сдаётся, — продолжает бороться, и в этой борьбе нет никакого смысла, кроме того, что борьба — это привычка, а привычки трудно менять, особенно когда тебе за пятьдесят и ты видел столько смертей, что уже перестал считать, и для тебя смерть — это просто ещё один человек, который ложится на землю и не встаёт, и ты идёшь дальше, не оглядываясь, потому что оглядываться — значит признать, что ты что-то чувствуешь, а чувствовать — это больно, и ты не хочешь боли, ты хочешь тишины, но тишина наступает только после смерти, а ты ещё не умер, и пока ты жив, ты должен говорить, действовать, выбирать, и выбор, который ты сделал — позвать некроманта — уже сделан, и ты не можешь его отменить, даже если захочешь, потому что некроманты не уходят просто так — они приходят за платой, и плата будет взята, даже если ты передумаешь, даже если ты убьёшь некроманта, даже если ты сбежишь на край света, потому что некроманты связаны с Бездной, а Бездны не обманешь, она всегда получает своё, рано или поздно, и плата, которую она берёт, — всегда выше, чем ты готов заплатить, и ты платишь, и плачешь, и проклинаешь себя, и проклинаешь богов, и проклинаешь тот день, когда родился, потому что родиться — значит обречь себя на выбор, и выбор всегда между плохим и очень плохим, и ты выбираешь очень плохое, потому что оно кажется тебе менее плохим, чем плохое, и ошибаешься, потому что очень

плохое всегда хуже, чем плохое, просто ты не знаешь этого заранее, и даже если знаешь — всё равно выбираешь, потому что выбора нет, есть только иллюзия выбора, и ты веришь в эту иллюзию, потому что верить легче, чем знать, что у тебя нет выбора, и что ты — просто пешка в чужой игре, и игра эта — Бездна, и она всегда выигрывает, потому что она — не игрок, она — игра, и в ней нет правил, кроме одного: «В конце всегда смерть, и неважно, как ты до неё дошёл — важно только, что ты дошёл, и что ты не свернул с пути, хотя свернуть можно было в любую минуту, но ты не свернул, потому что боялся, что свернуть — значит заблудиться, а заблудиться страшнее, чем умереть, потому что смерть — это конец, а заблудиться — это бесконечное блуждание в темноте, без надежды на выход, без надежды на свет, без надежды на то, что когда-нибудь ты увидишь знакомое лицо, и лицо это улыбнётся тебе, и скажет: «Я здесь, я тебя ждал, я знал, что ты придёшь»».

Они сидели в шатре вождя — просторном, сшитом из медвежьих шкур, которые пахли потом, кровью и той особенной, дикой свежестью, которая бывает только у шкур, снятых с живого зверя, когда зверь ещё трепыхается, и ты держишь его лапы, и чувствуешь, как из него уходит жизнь, и эта жизнь переходит в твои руки, делая тебя сильнее, и ты знаешь, что это неправильно, что убивать ради силы — это путь тёмной магии, но ты всё равно убиваешь, потому что сила нужна, чтобы защитить тех, кто слабее, и ты защищаешь,

и каждый раз, когда ты убиваешь, ты становишься чуточку темнее, чуточку ближе к той черте, за которой нет возврата, и ты знаешь об этом, но продолжаешь, потому что остановиться — значит признать, что все твои прошлые убийства были напрасны, а ты не можешь признать напрасным то, ради чего ты отдал столько сил, столько лет, столько слёз — своих и чужих. Снаружи выл ветер — северный, холодный, как сталь, которую кузнец только что вынул из горна и опустил в воду, и сталь зашипела, и пар пошёл, и ветер этот, казалось, проникал сквозь шкуры, сквозь доспехи, сквозь кожу, добираясь до костей, и Родерик чувствовал, как его кости ноют, как ноют у старого волка, который прожил слишком долгую жизнь и видел слишком много зим, и каждая зима оставляла след на его теле, и эти следы — шрамы, переломы, сросшиеся, но всё равно ноющие при смене погоды. Внутри горел костёр — жаркий, яркий, с большими поленьями, которые Родерик сам нарубил в лесу, не доверяя эту работу слугам, потому что слуги могут принести сырые дрова, и они будут дымить, а дым — это демаскировка, а демаскировка — это смерть, и Родерик не хотел умирать от того, что какой-то слуга не смог отличить сухое дерево от сырого. Но Родерику всё равно было холодно — не потому, что костёр был слабым, и не потому, что ветер был слишком сильным, и не потому, что шкуры были тонкими — всё это было на месте, всё было сделано правильно, всё было рассчитано так, чтобы в шатре было тепло даже в самую лютую стужу. Но

рядом с личем тепло не живёт — оно уходит, как уходит вода из треснутого кувшина, медленно, незаметно, и ты не замечаешь этого, пока не остаёшься с пустыми руками и с чувством, что ты что-то потерял, но не можешь вспомнить, что именно, и это чувство хуже холода, потому что холод можно согреть огнём, а чувство потери — ничем, даже временем, потому что время не лечит, оно только притупляет боль, но боль остаётся, и в тихие ночи, когда никто не видит, она вылезает из своей норы и кусает тебя за сердце, и ты сидишь, смотришь на угли и думаешь: «Зачем я это сделал? Зачем я позвал его? Зачем я не умер тогда, когда умирать было ещё не страшно, когда смерть казалась просто сном, а не вечной пустотой, которая ждёт нас всех?»

— Я предлагаю тебе решение, — сказал Мортимер, и его голос был ровным, как настройка музыкального инструмента перед концертом, когда музыкант ещё не знает, будет ли концерт успешным, и зрители будут аплодировать, или они будут молчать, и тишина будет громче любых аплодисментов, и в этой тишине — провал, и провал — это конец, и конец — это смерть, и смерть — это тишина, и круг замыкается. — Мои скелеты не боятся демонов — у них нет нервов, нет страха, нет даже инстинкта самосохранения, который мешает живым воинам сражаться в полную силу, потому что инстинкт самосохранения — это голос: «Береги себя, не лезь в пекло, ты нужен живым», — и этот голос иногда побеждает, и тогда воины отступают, и отступление — это

поражение, а поражение — это смерть для тех, кто не успел отступить. Мои вампиры быстрее демонов — они быстрее ветра, быстрее молнии, быстрее самой мысли, и когда демон заносит свой серп, вампир уже вонзил клыки ему в шею, и демон падает, и из его чёрной крови вырастают цветы, которые цветут только там, где прошёл вампир, и цветы эти — белые, как кости, и пахнут они смертью, но в этой смерти есть своя красота, своя гармония, своя справедливость. Мои личи умнее их — личи пережили смерть, и после смерти они поняли то, что не понимали при жизни: что мир — это не арена для битвы добра и зла, а просто место, где одни существа едят других, и в этом нет ни добра, ни зла, есть только голод и насыщение, и личи утолили свой голод смертью, и теперь им не нужно есть — им нужно только знать, и знание — это их пища, и их знание безгранично, и они могут предсказать любой шаг демона, потому что демоны предсказуемы, как предсказуема Бездна, которая их породила, и Бездна не умеет думать — она только жрёт, и жрёт всегда по одной схеме, и эту схему можно изучить, и когда изучишь — можно победить, даже если силы неравны. Ты дашь мне своих павших — я дам тебе армию. Армию, которая не спит, не ест, не устаёт, не предаёт, не отступает, не просит пощады и не даёт её. Армию, которая просто идёт вперёд и выполняет приказ, даже если приказ — идти в огонь, идти под копья, идти в пасть к дракону, потому что мёртвые не боятся смерти — они уже мёртвы, и для них нет разницы между жизнью

и смертью, есть только движение и покой, и движение — это приказ, а покой — это награда, и награда эта — вечность, и в этой вечности нет ни боли, ни радости, ни надежды, только пустота, и пустота — это покой, и покой — это мир, и мир — это то, ради чего ты воюешь, и ты воюешь за мир, но чтобы получить мир, ты должен пройти через войну, а война — это смерть, и смерть — это путь к миру, и этот путь ведёт через некромантов, потому что некроманты — это мост между жизнью и смертью, и без этого моста ты не перейдёшь, ты останешься на берегу, и будешь смотреть, как демоны переходят реку по другому мосту, и ты не сможешь их остановить, потому что у тебя нет моста, а у них есть, и они идут, и идут, и идут, и их бесконечный поток сметаёт всё на своём пути, и ты стоишь на берегу, сжимая в руке меч, и знаешь, что умрёшь, но даже смерть твоя не остановит их, потому что они — Бездна, а Бездну не остановить мечом, её можно только на время задержать, а потом она всё равно придёт, и тогда не будет никого, кто мог бы смотреть на неё с ужасом, потому что ужас — это привилегия живых, а живых больше не будет, будут только демоны, и они будут жрать друг друга, когда закончится живая еда, и это будет длиться вечно, потому что Бездна — это вечность, и она не знает других слов, кроме «жри, расти, размножайся, умирай, воскресай, жри снова».

— Ты предлагаешь мне воскрешать мёртвых? — спросил Родерик, и в его голосе прозвучало отвращение — такое же

сильное, как запах смерти, который исходил от Мортимера, и такое же бесполезное, потому что отвращение не меняет реальности, реальность остаётся такой, какая она есть — жестокой, бескомпромиссной, и в этой реальности восхождение мёртвых — это не грех, не ересь, не кощунство, это просто инструмент, как меч или топор, и если ты используешь меч, чтобы убивать, это нормально, а если используешь мёртвых, чтобы защищать живых, это вдруг становится ненормальным, хотя суть одна и та же: ты берёшь что-то мёртвое — металл, кость, плоть — и делаешь из него оружие, и оружие это убивает врага, и враг падает, и ты идёшь дальше, и никто не спрашивает, из чего сделано твоё оружие — из железа, из камня или из человеческих костей, важно только, что оно работает, и что ты не пользуешься им против своих, и что ты не становишься монстром, используя монстров, потому что грань между человеком и монстром — тонкая, и её легко переступить, и когда переступаешь — обратной дороги нет, ты уже монстр, и монстры не нужны никому, даже другим монстрам, потому что монстры не доверяют друг другу, и в этом недоверии — их слабость, и эта слабость — твой шанс, и ты используешь его, или не используешь, или используешь, но неправильно, и тогда проигрываешь, и проигрыш — это смерть, и смерть — это конец, и конца нет, есть только вечность, и вечность — это пустота, и пустота — это тишина, и тишина — это то, что ты слышишь, когда закрываешь глаза и думаешь о тех, кого не смог спасти.

— Я предлагаю тебе не дать им пропасть зря, — Мортимер склонил голову набок, и этот жест — почти человеческий, почти живой — был таким неуместным на его сером, неподвижном лице, что Родерику захотелось отвернуться, но он не отвернулся, потому что отвернуться — значит показать слабость, а слабость — это приглашение к удару, и он не хотел, чтобы некромант ударил его, хотя знал, что некромант не ударит — не потому, что он добрый, а потому, что у него нет цели убивать, у него есть цель — получить плату, и плата — это душа, а душу не получишь, если убьёшь того, кто должен её отдать, потому что мёртвые не заключают сделок, они только лежат и ждут, когда их воскресят, или не воскресят, или воскресят, но неправильно, и тогда они встанут, но не будут подчиняться, потому что воля мёртвого сильнее воли некроманта, если мёртвый был при жизни сильным духом, а Родерик был сильным духом — он выжил в трёх войнах, потерял двух жён, похоронил троих детей, и каждый раз вставал и шёл дальше, потому что не умел ложиться и ждать, когда всё кончится само собой. — Твои воины умрут. Это факт, который не изменить ни молитвами, ни заклинаниями, ни даже вмешательством богов, если боги вообще вмешиваются в дела смертных, а я думаю, что не вмешиваются — им всё равно, они смотрят на нас сверху и смеются, или плачут, или просто смотрят, не выражая никаких эмоций, потому что эмоции — это удел живых, а боги, как и личи, мертвы, только по-другому, и их смерть — это не отсутствие

жизни, это отсутствие интереса к жизни, и они смотрят на наши битвы так, как смотрят на муравьёв, которые строят муравейник, и у одного муравья сломалась лапка, и он тащит лист, и лист больше его, и он падает, и встаёт, и снова тащит, и боги смотрят на это и думают: «Какой упрямый муравей, жалко, что он умрёт через минуту, и никто не вспомнит его подвига, потому что муравьи не записывают историю, они просто живут и умирают, и в этом — вся их жизнь, и в этой жизни — нет смысла, кроме того, который они сами в неё вкладывают, а они вкладывают мало, потому что муравьи — не люди, они не умеют вкладывать смысл, они просто делают то, что должны, и умирают, и это — их судьба, и судьба эта — такая же, как у нас, только мы думаем, что мы лучше, потому что умеем думать, а думать — это не значит быть лучше, это значит больше страдать, потому что чем больше ты думаешь, тем больше ты понимаешь, что всё бессмысленно, и что смерть неизбежна, и что надежда — это только отсрочка, и рано или поздно ты умрёшь, и всё, что ты сделал, будет забыто, и даже камни, которые ты поставил на могилах своих предков, сотрутся ветром, и от тебя не останется ничего, кроме памяти в головах тех, кто переживёт тебя, а они тоже умрут, и их память умрёт вместе с ними, и так — до бесконечности, пока не останется никого, кто мог бы помнить, и тогда наступит полная тишина, и в этой тишине — конец, и конца нет, есть только пустота, и пустота — это то, что было до нас, и то, что будет после, и мы — только искры, которые

вспыхивают на секунду и гаснут, и в этом вспыхе — вся наша жизнь, и мы пытаемся продлить её, потому что боимся тьмы, которая наступит после, но тьма всё равно наступает, и мы гаснем, и нас нет, и мир продолжает крутиться, потому что мир не замечает потери одной искры, и даже миллиона искр, даже миллиарда, потому что мир — это не мы, мир — это то, что было до нас, и то, что будет после, и мы — просто случайность, и случайность эта — прекрасна, потому что она — наша, и мы можем распорядиться ею как хотим, и если мы хотим воскрешать мёртвых, чтобы спасти живых — мы воскрешаем, и не спрашиваем разрешения ни у богов, ни у людей, ни у тех, кого воскрешаем, потому что они мёртвые, и у них нет права голоса в мире живых, их право голоса — только в мире мёртвых, а мир мёртвых — это тишина, и в этой тишине — покой, и покой — это то, что нужно живым, но не в данный момент, потому что в данный момент живым нужна победа, и победа — это жизнь, и жизнь — это борьба, и борьба — это смерть, и мы выбираем смерть, или жизнь, или что-то среднее, и это среднее — некромантия, и она — мост, и мост этот шаткий, и он может рухнуть в любую минуту, и тогда все, кто на нём, упадут в Бездну, и Бездна сожрёт их, как сожрала всех, кто падал до них, и тогда не будет никого, кто мог бы предупредить следующих, и следующие тоже упадут, и так — до бесконечности, пока кто-то не построит новый мост, или не научится летать, или не спустится в Бездну и не уничтожит её изнутри, но уничтожить Бездну

нельзя — она часть мира, как тьма часть ночи, и тьма всегда возвращается, даже когда кажется, что победил свет, потому что свет — это только временное явление, а тьма — вечна, и мы — искры, которые зажигаются в темноте на мгновение, и это мгновение — наша жизнь, и в этой жизни мы должны успеть сделать всё, что можем, ибо потом будет поздно, и время уйдёт, и мы уйдём вместе с ним, и не останется ничего, кроме памяти, и память тоже умрёт, и тогда — тишина, и тишина — это конец, и конца нет, есть только вечность, и вечность — это пустота, и пустота — это мы, и мы — пустота, и мы — тишина, и мы — смерть, и мы — жизнь, и мы — всё, и мы — ничего, и мы стоим на краю пропасти и смотрим вниз, и внизу — чернота, и чернота смотрит на нас, и мы падаем, и падение — это полёт, и в полёте — свобода, и свобода — это смерть, и смерть — это жизнь, и жизнь — это мы, и мы — это то, что останется после того, как всё закончится, а всё закончится обязательно, рано или поздно, и тогда не будет ни некромантов, ни демонов, ни людей, ни богов, только пустота, и пустота — это покой, и покой — это то, что мы искали всю жизнь, но боялись найти, потому что покой — это отсутствие движения, а движение — это жизнь, и мы не хотим терять жизнь, даже если она — боль, даже если она — страдание, даже если она — бесконечная борьба с тем, что сильнее нас, потому что борьба — это смысл, и смысл — это то, ради чего мы просыпаемся утром и идём в бой, и если у нас отнять смысл — мы умрём, даже если останемся

живы, и смерть при жизни — это хуже, чем смерть настоящая, потому что настоящая смерть — это конец, а смерть при жизни — это медленное угасание, когда каждый день ты чувствуешь, как что-то внутри тебя умирает, и не можешь это остановить, и смотришь, как гниёшь заживо, и ничего не можешь сделать, потому что гниение — это процесс, и он необратим, и ты стоишь на пороге, и порог этот — между жизнью и смертью, и ты не знаешь, какую сторону выбрать, и выбираешь жизнь, но жизнь уже не та, она — пустая, и ты идёшь по ней, как идёшь по пустыне, без воды, без еды, без надежды, и только ветер воет с тобой, и ветер — это память, и память — это боль, и боль — это жизнь, и жизнь — это мы, и мы — это то, что мы помним, и если мы забываем — мы умираем, и смерть — это забвение, и забвение — это покой, и покой — это награда, и награда — это вечность, и вечность — это пустота, и пустота — это тишина, и тишина — это конец.

— Вопрос в том, — продолжал Мортимер, и его голос стал чуть громче, чуть настойчивее, как голос учителя, который объясняет ученику прописную истину, а ученик не понимает, потому что он тупой или потому что он не хочет понимать, и учитель злится, но не показывает злости, потому что злость — это слабость, а слабость — это смерть, и он не хочет умирать, по крайней мере сейчас, когда сделка ещё не заключена, и плата ещё не получена, и душа ещё не отдана, и он может уйти, если Родерик скажет «нет», но Родерик не ска-

жет «нет», потому что у него нет выбора, а если нет выбора — значит, сделка состоится, и душа будет отдана, и круг замкнётся, и Мортимер получит своё, и Родерик получит своё, и каждый останется при своём, и это — справедливость, такая, какая она есть в мире, где справедливость — это не то, что должно быть, а то, что есть, и то, что есть — это сделка, и сделка — это обмен, и обмен — это жизнь, и жизнь — это рынок, и на этом рынке всё продаётся и всё покупается, даже души, даже память, даже надежда, и ты продаёшь, и покупаешь, и думаешь, что ты свободен, но на самом деле ты — раб, раб своих решений, раб своего выбора, раб того, что ты сделал, и ты не можешь изменить прошлое, ты можешь только принять его, или не принять, или принять, но не до конца, и это не-до-конца — хуже всего, потому что оно не даёт тебе покоя, ты всё время думаешь: «А что, если бы я поступил иначе? Что, если бы я сказал «нет»? Что, если бы я позволил себе умереть, а не продавать душу своего сына?» — и ты не находишь ответа, потому что ответа нет, есть только выбор, и выбор сделан, и назад дороги нет, и ты идёшь вперёд, сжимая в руке меч, и знаешь, что меч — не спасение, меч — это только инструмент, и спасение — это то, что внутри тебя, а внутри тебя — пустота, и ты заполняешь её сделками, сражениями, победами, но она всё равно остаётся пустой, потому что пустоту нельзя заполнить — она бесконечна, и ты пытаешься, и пытаешься, и пытаешься, пока не падаешь, и когда падаешь — понимаешь, что вся твоя жизнь была борь-

бой с пустотой, и пустота победила, как побеждает всегда, потому что пустота — это не враг, это — фон, на котором разыгрывается твоя жизнь, и на этом фоне ты — всего лишь точка, маленькая, почти незаметная, и ты можешь сделать её ярче, можешь сделать её тусклее, можешь погасить её вовсе, но фон останется, потому что фон — это пустота, и пустота — это то, что было до тебя, и то, что будет после, и ты — только эпизод, и эпизод этот — короткий, как вздох, и ты должен успеть вдохнуть, пока не задохнулся, и выдохнуть, пока не лопнули лёгкие, и в этом вдохе и выдохе — вся твоя жизнь, и в этой жизни — выбор, и выбор — это то, что делает тебя человеком, или не делает, или делает, но не до конца, и ты выбираешь, и ты платишь, и ты идёшь дальше, и ты — Родерик, вождь клана Волков, воин, отец, муж, убийца, спаситель, и ты не знаешь, кто ты на самом деле, и никогда не узнаешь, потому что узнать — значит умереть, а умирать ты не хочешь, ты хочешь жить, и ты живёшь, и ты дышишь, и ты сражаешься, и ты продаёшь душу своего сына, потому что это — единственный способ спасти его, и в этой иронии — вся твоя жизнь, и ты смеёшься, потому что ирония — это единственное, что остаётся, когда уже не можешь плакать, а плакать нельзя, потому что если ты заплачешь — воины увидят, и их вера в тебя рухнет, а без веры — нет армии, а без армии — нет победы, а без победы — нет жизни, и круг замыкается, и ты стоишь в центре круга, сжимаешь в руке меч, и думаешь о том, что всё это — ирония, и ирония —

это смех, и смех — это слёзы, и слёзы — это боль, и боль — это жизнь, и жизнь — это выбор, и выбор — это сделка, и сделка — это душа твоего сына, и душа твоего сына — это цена, и цена — это победа, и победа — это жизнь, и жизнь — это ирония.

— У тебя двести воинов, — продолжал Мортимер, и его голос был спокоен — таким спокойным может быть только голос того, кто уже всё потерял и ничего не боится, потому что бояться нечего, когда ты мёртв, а он мёртв, и его бессмертие — это не жизнь, это существование, и существование — это не жизнь, это просто процесс, и в этом процессе нет места страху, есть место только расчёту, и расчёт — это всё, что у него есть, и он рассчитывает, и его расчёты точны, потому что он — лич, а личи славятся своей точностью, ибо они не поддаются эмоциям, а эмоции — это ошибка, и ошибка — это смерть, а смерть для лича — это конец, и он не хочет конца, он хочет вечности, и вечности он достигает, не ошибаясь, и не ошибаться — значит не чувствовать, и он не чувствует, и это — его сила, и это — его слабость, потому что не чувствовать — значит не понимать, а не понимать — значит проигрывать, и проигрыш — это смерть, и смерть — это конец, и конца нет, есть только вечность, и вечность — это пустота, и пустота — это тишина, и тишина — это то, что он слышит, когда никто не говорит, и в этой тишине — вся его жизнь, и в этой жизни — нет ничего, кроме тишины, и тишина — его проклятие, и проклятие — его награда, и на-

града — его вечность, и вечность — его тюрьма, и он сидит в этой тюрьме, и смотрит на мир через решётку, и мир кажется ему маленьким, плоским, ненастоящим, как картинка в книжке, и он тычет пальцем в эту картинку, и пальцем он может убить, но не может оживить, потому что оживление — это не его дар, оживление — это дар жизни, а жизнь ушла, и не вернётся, и он — лич, и он — мёртв, и он — бессмертен, и бессмертие — это смерть, и смерть — это жизнь, и он запутался, и не знает, кто он, и не хочет знать, и знать ему не нужно, нужно только делать своё дело, и дело его — собирать души, и души — это плата, и плата — это его пища, и он ест, и ему не становится сытнее, потому что души — это не еда, это суть, и суть — это то, что делает его личом, и он — лич, и он — Мортимер, и он пришёл к Родерику, чтобы получить то, что принадлежит ему по праву, и право это — сделка, и сделка — это договор, и договор — это слово, а слово — это всё, что у него есть, и он держит слово, даже когда слово — это проклятие, даже когда слово — это смерть, даже когда слово — это душа ребёнка, двенадцати лет, который хотел стать паладином, когда вырастет, но не вырастет, потому что его душа уже продана, и он не знает об этом, он спит сейчас в своей палатке, и видит сон, в котором он — герой, и убивает демонов, и его уважают, и его любят, и он счастлив, и он не знает, что завтра его отец скажет «да», и сделка состоится, и он перестанет быть собой, станет чьей-то собственностью, чьей-то вещью, чьим-то инструментом, и инструмент не ви-

дит снов, он только работает, и работает, и работает, пока не сломается, и когда сломается — его выбросят, и никто не вспомнит о нём, и даже Мортимер не вспомнит, потому что Мортимеру всё равно, для него Эрик — просто душа, одна из тысячи, и он заберёт её, и положит в свою коллекцию, и будет смотреть на неё, и не будет чувствовать ничего, кроме пустоты, и пустота — это его жизнь, и он не жалуется, потому что жаловаться некому, и не на что, и не зачем.

— У Изабель — сорок, — сказал Родерик, и его голос был хриплым, как у человека, который слишком долго молчал, и его голосовые связки забыли, как звучать, и он выдавливал из себя звуки, как выдавливают гной из раны, мучительно, медленно, но необходимо, потому что если не выдавить — рана загноится, и начнётся заражение, и он умрёт, а умирать нельзя, когда демоны на пороге, и когда сын спит в соседней палатке, и когда воины ждут от него решения, и он должен сказать «да» или «нет», и он знает, что «нет» — это смерть, а «да» — это жизнь ценой души, и он выбирает жизнь, потому что жизнь — это шанс, а смерть — это конец, и он не хочет конца, он хочет шанса, и шанс этот — сделка, и сделка — с дьяволом, с личем, с некромантом, с той силой, которую он презирал всю жизнь, но теперь вынужден принять, потому что презирать легче, когда у тебя есть выбор, а когда выбора нет — презирать бессмысленно, остаётся только действовать, и он действует, и он говорит «да», и это «да» звучит, как приговор, и приговор — его сыну, и сын не знает, и не

узнает до той минуты, пока не придёт время платить, и тогда он узнает, и ужаснётся, и проклянёт отца, и отец будет стоять и смотреть, как сын проклинает его, и не сможет ничего сделать, потому что сделка есть сделка, и слово есть слово, и если ты дал слово — держи его, даже если слово — это душа твоего ребёнка, даже если слово — это предательство, даже если слово — это конец всего, что ты любил, потому что слово — это единственное, что остаётся у человека, когда у него нет ничего, и если он не держит слово — он никто, хуже зверя, хуже демона, хуже лича, потому что зверь не даёт слов, демон не держит их, а лич не нуждается в них — ему нужна сделка, и сделка — это слово, и слово — это договор, и договор — это скрепа, и скрепа — это цепь, и цепь — это рабство, и рабство — это смерть, и смерть — это свобода, и свобода — это иллюзия, и иллюзия — это всё, что у нас есть, и мы живём в этой иллюзии, и боремся, и верим, что однажды иллюзия станет реальностью, и мы проснёмся, и увидим, что мир — не такой, каким мы его знали, что он — лучше, или хуже, или такой же, и мы не знаем, что лучше, и никогда не узнаем, потому что узнать — значит проснуться, а проснуться — значит умереть, и смерть — это пробуждение, и пробуждение — это жизнь, и жизнь — это сон, и сон — это реальность, и реальность — это мы, и мы — это сон, и сон — это Мортимер, и Мортимер — это лич, и лич — это смерть, и смерть — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это Эрик, и Эрик — это сын, и сын — это буду-

щее, и будущее — это тьма, и тьма — это свет, и свет — это тьма, и мы стоим посередине, и выбираем, и падаем, и встаём, и идём, и идём, и идём, пока не упадём в последний раз, и когда упадём — поймём, что всё было не зря, или зря, или не совсем зря, и поймём, что понимание — это роскошь, которую мы не можем себе позволить, потому что роскошь — это время, а времени нет, есть только сейчас, и сейчас — это выбор, и выбор — это «да», и «да» — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это всё, что у нас есть, и мы отдаём её, и получаем взамен армию, и армия — это победа, и победа — это жизнь, и жизнь — это душа, и душа — это Эрик, и Эрик — это всё, что у нас есть, и мы отдаём всё, чтобы спасти всех, и спасаем, и побеждаем, и плачем, и смеёмся, и умираем, и воскресаем, и снова умираем, и круг замыкается, и нет в этом круге ни начала, ни конца, есть только движение, бесконечное, как Бездна, и Бездна — это мы, и мы — это Бездна, и мы — это Мортимер, и Мортимер — это лич, и лич — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это сын, и сын — это Родерик, и Родерик — это воин, и воин — это отец, и отец — это предатель, и предатель — это герой, и герой — это трус, и трус — это смельчак, и смельчак — это тот, кто сказал «да», когда должен был сказать «нет», и сказал «нет», когда должен был сказать «да», и не знал, что правильно, и никогда не узнает, потому что узнать — значит умереть, а умирать он не хочет, он хочет жить, и он живёт, и он сражается, и он проигрывает, и он выигрывает, и он —

Родерик, вождь клана Волков, и он продал душу своего сына, чтобы спасти свой народ, и он будет жить с этим до конца своих дней, и конец этот будет не скоро, а если и скоро — то он будет долгим, как вечность, и вечность — это расплата, и расплата — это память, и память — это боль, и боль — это жизнь, и жизнь — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это Эрик, и Эрик — это его сын, и его сын — это он сам, и он сам — это Мортимер, и Мортимер — это лич, и лич — это смерть, и смерть — это покой, и покой — это то, что мы ищем всю жизнь, но никогда не находим, потому что поиск — это жизнь, а жизнь — это движение, а движение — это борьба, а борьба — это боль, а боль — это память, а память — это душа, а душа — это Эрик, и Эрик спит, и видит сон, в котором он — паладин, и убивает демонов, и его уважают, и его любят, и он счастлив, и он не знает, что завтра его отец скажет «да», и сделка состоится, и он перестанет быть собой, станет душой в коллекции лича, и душа его будет тихо гореть, как свеча, и гореть она будет вечность, и вечность — это долго, и он будет гореть, и не погаснет, потому что души не гаснут, они только переходят из рук в руки, и каждая рука оставляет на них след, и след этот — боль, и боль — это память, и память — это жизнь, и жизнь — это сон, и сон — это реальность, и реальность — это Мортимер, и Мортимер — это лич, и лич — это Родерик, и Родерик — это отец, и отец — это предатель, и предатель — это герой, и герой — это трус, и трус — это смельчак, и смельчак —

это тот, кто не боится умереть, но боится жить с мыслью, что он предал того, кого любил, и он живёт с этой мыслью, и она гложет его, и он гложет её, и они — одно, и он — Родерик, и он — не Родерик, он — никто, и звать его никак, и он стоит на краю пропасти, и смотрит вниз, и внизу — чернота, и чернота смотрит на него, и он прыгает, и падает, и летит, и в полёте — свобода, и свобода — это смерть, и смерть — это жизнь, и жизнь — это сон, и сон — это Эрик, и Эрик — это всё, что у него есть, и он отдал Эрика, чтобы спасти Эрика, и это — ирония, и ирония — это смех, и смех — это слёзы, и слёзы — это боль, и боль — это память, и память — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это Мортимер, и Мортимер — это лич, и лич — это бессмертие, и бессмертие — это проклятие, и проклятие — это жизнь, и жизнь — это сон, и сон — это явь, и явь — это сон, и мы спим, и видим сны, и не можем проснуться, потому что проснуться — значит умереть, а мы не хотим умирать, мы хотим жить, и мы живём, и мы дышим, и мы сражаемся, и мы продаём души своих детей, и мы побеждаем, и мы проигрываем, и мы — люди, и мы — герои, и мы — чудовища, и мы — всё это сразу, и мы — никто, и мы — все, и мы — Родерик, вождь клана Волков, который смотрит на некроманта и говорит:

— У тебя двести воинов. У Изабель — сорок. У демонов — тысяча. Если ты не возьмёшь мою помощь, ты проиграешь. Если проиграешь — демоны сожгут твои деревни, твои жёны станут их игрушками, твои дети — их едой, и да-

же твой сын, которого ты так бережёшь, не спасётся, потому что демоны не щадят красивых мальчиков — они их едят первыми, они сладкие. — Мортимер помолчал, и тишина в шатре стала плотной, как смола, как мед, как время, которое остановилось и не хочет идти дальше, потому что дальше — только пустота. — Или ты предпочитаешь смерть позорную смерти почётной? Смерть позорную — когда твоё тело сожрут демоны, а душу заберёт Бездна, и ты будешь вечно страдать в её чреве, не зная покоя. Или смерть почётную — когда твоё тело сожгут свои, а душу получим мы, некроманты, и мы будем хранить её в наших кристаллах, и она не будет страдать, она будет просто... существовать. Без боли. Без радости. Без надежды. Но и без отчаяния. Выбирай.

Родерик сжал кулаки. Его руки были в шрамах — старых, от мечей, и новых, от демонских клинков. Он был воином. Он знал, что такое смерть. Он даже не боялся её, потому что бояться смерти — значит бояться жизни, а он не боялся жизни, он боялся только одного — проиграть, проиграть так, чтобы не осталось даже памяти о том, что он когда-то существовал, что он сражался, что он любил, что он жертвовал собой и другими, чтобы защитить свой народ, свой дом, свою семью.

— Какая цена? — спросил он, и его голос был тихим, очень тихим, таким тихим, каким может быть только голос человека, который понимает, что сейчас совершит непоправимое, и не может остановиться, потому что остановиться —

значит проиграть, а проигрывать он не умеет, он умеет только идти вперёд, даже если впереди — пропасть, даже если в пропасти — смерть, даже если смерть — это конец, а конца нет, есть только тьма, и тьма — это его путь, и он идёт по этому пути, и ведёт за собой других, и они идут, и не знают, куда идут, и не спрашивают, потому что спрашивать — значит сомневаться, а сомневаться — значит слабеть, а слабеть — значит умирать, и они не хотят умирать, они хотят жить, и они живут, и они идут, и они — армия, и армия — это сила, и сила — это победа, и победа — это жизнь, и жизнь — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это... душа — это то, что нельзя продавать, но он продаёт, потому что другого выхода нет, и он выбирает из двух зол меньшее, и меньшее зло — это сделка с личем, а большее зло — это смерть от демонов, и он выбирает меньшее, и проклинает себя за этот выбор, и проклинает богов, которые поставили его перед этим выбором, и проклинает демонов, которые заставили его выбирать, и проклинает некроманта, который пришёл за его душой, и проклинает себя снова, и снова, и снова, и это проклятие — единственное, что остаётся у него, когда сделка заключена и слово дано, и слово — это закон, и закон — это цепь, и цепь — это рабство, и рабство — это жизнь, и жизнь — это смерть, и смерть — это свобода, и свобода — это иллюзия, и иллюзия — это всё, что у него есть, и он держится за эту иллюзию, как держится утопающий за соломинку, и соломинка ломается, и он тонет, и в тонущем мире нет

ничего, кроме воды, и вода — это тьма, и тьма — это Бездна, и Бездна — это конец, и конца нет, есть только вечность, и вечность — это тишина, и тишина — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это... это... это... он не может произнести это слово, потому что если произнесёт — оно станет реальностью, а реальность — это боль, и боль — это жизнь, и жизнь — это дар, и дар — это проклятие, и проклятие — это выбор, и выбор — это сделка, и сделка — это душа его сына.

— Твоя душа, — ответил Мортимер. — Или не твоя. Мы возьмём душу того, кого ты выберешь. Когда война кончится. Не раньше, не позже. Когда последний демон падёт, или когда последний человек умрёт, или когда не останется никого, кто мог бы помешать нам взять плату. Мы придём. И возьмём.

— Того, кого я выберу? — переспросил Родерик, и в его голосе прозвучала надежда — маленькая, слабая, почти мёртвая, но всё же живая, как жива мышь, которая спряталась в подполе и ждёт, когда кошка уйдёт, чтобы вылезти и умереть от голода, или от страха, или от того, что кошка вернётся и съест её, и мышь знает это, но всё равно надеется, потому что надежда — это единственное, что у неё есть, и она не может отказаться от неё, даже если надежда — это иллюзия, даже если иллюзия — это смерть, даже если смерть — это конец, а конца нет, есть только вечность, и вечность — это тишина, и тишина — это надежда, и надежда — это мышь, и мышь — это Родерик, и Родерик — это вождь, и

вождь — это отец, и отец — это тот, кто выбирает, и он выбирает.

— Да. Это наш обычай. Мы не забираем души случайных людей — это нечестно, а некроманты, вопреки слухам, соблюдают честность, потому что честность — это единственное, что отличает нас от демонов. Мы забираем тех, кого нам отдают. Добровольно. Или не очень. — Мортимер улыбнулся, и улыбка лица — это страшное зрелище, такое страшное, что Родерик невольно отшатнулся, хотя он не боялся ни демонов, ни смерти, ни самой Бездны, но улыбка лица была хуже всего, потому что в ней не было ничего — ни радости, ни злости, ни даже той пустой вежливости, которой люди прикрывают свои истинные чувства. В улыбке лица была только маска, и под маской — пустота, и пустота эта была такой же глубокой, как Бездна, и такой же древней, как мир, и такой же холодной, как смерть, и Родерик смотрел в эту пустоту и видел своё отражение — стареющего воина, который продаёт душу своего сына, чтобы спасти свой народ, и отражение это улыбалось, и улыбка была такой же пустой, как улыбка лица, и Родерик понял, что он уже стал частью этой пустоты, что он уже перешагнул ту грань, за которой нет возврата, и что единственное, что осталось ему, — это идти вперёд, не оглядываясь, не сомневаясь, не боясь, потому что бояться уже нечего — он уже продал свою душу, пусть и не свою, а сына, но это всё равно душа, и она уйдёт, и он останется без неё, и будет жить, и сражаться, и побеждать, и умрёт, когда

придёт время, и в смерти — покой, и покой — это награда, и награда — это вечность, и вечность — это тишина, и тишина — это улыбка, и улыбка — это Мортимер, и Мортимер — это лич, и лич — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это Эрик, и Эрик — это его сын, и его сын — это Родерик, и Родерик — это вождь, и вождь — это выбор, и выбор — это сделка, и сделка — это душа.

Родерик долго молчал. Костёр трещал, угли падали в золу, и от этих падений поднимались искры, которые летели вверх, к потолку, и гасли, не долетев, как гаснут все надежды, все мечты, все обещания, которые мы даём себе и другим, и не выполняем, потому что выполнить обещание — это трудно, а не выполнить — легко, и мы выбираем лёгкое, и потом жалеем, и проклинаям себя, и проклинаям тех, кто заставил нас выбирать, и проклинаям богов, которые смотрят на нас сверху и смеются, или плачут, или просто смотрят, не выражая никаких эмоций, потому что эмоции — это удел живых, а боги — мертвы, или их нет, или они есть, но им всё равно, потому что они — не люди, и их проблемы — не наши проблемы, и наши проблемы — не их проблемы, и мы одни, и мы сами должны решать, что делать, и мы решаем, и Родерик решил.

— Мой сын, — сказал он наконец, и его голос был тихим, таким тихим, что, казалось, слова умирали, не долетев до ушей Мортимера, но Мортимер слышал — личи слышат всё, даже то, что не было сказано, даже то, что только поду-

мали, но не решились произнести, и в этом их сила, и в этом их проклятие, потому что слышать всё — значит знать всё, а знать всё — значит не знать ничего, потому что знание без избирательности — это хаос, и хаос — это Бездна, и Бездна — это смерть, и смерть — это конец, и конца нет, есть только вечность, и вечность — это тишина, и тишина — это голос, и голос — это Родерик, и Родерик — это отец, и отец — это предатель, и предатель — это герой, и герой — это трус, и трус — это смельчак, и смельчак — это тот, кто не боится умереть, но боится жить с мыслью, что он предал того, кого любил, и он живёт с этой мыслью, и она гложет его, и он гложет её, и они — одно, и он — Родерик, и он — не Родерик, он — никто, и звать его никак, и он стоит на краю пропасти, и смотрит вниз, и внизу — чернота, и чернота смотрит на него, и он прыгает, и падает, и летит, и в полёте — свобода, и свобода — это смерть, и смерть — это жизнь, и жизнь — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это Эрик.

— Его зовут Эрик, — продолжил Родерик, и его голос стал твёрже, как сталь, которую закаляют в воде, и она шипит, и пар идёт, и сталь становится крепче, чем была, но теряет свою гибкость, становится ломкой, и может сломаться при первом же сильном ударе, и Родерик знал это, но не мог остановиться, он уже зашёл слишком далеко, и назад дороги не было, и он должен был закончить, потому что незаконченная сделка — это хуже, чем совершенная, и он заканчивал: — Ему двенадцать лет. Он станет паладином, когда выраст-

тет. Или станет? Я не знаю. Я знаю только, что он хороший мальчик. Добрый. Смелый. Глупый. Думает, что всех можно спасти, если постараться. — Родерик усмехнулся — горько, как полынь, и в этой усмешке было столько боли, что даже Мортимер, у которого не было души, на мгновение замер, и в его пустых глазах мелькнуло что-то похожее на человеческое — наверное, воспоминание о том времени, когда он сам был отцом, когда у него был сын, когда он любил, и надеялся, и верил, и всё потерял, и стал личом, и теперь собирает души других, чтобы заполнить ту пустоту, которая образовалась внутри него после того, как он потерял свою семью, свою надежду, свою веру. — Я отдаю его. После войны. Если мы победим. Если не победим — душа не нужна. Потому что все мы станем демонами. Или трупами. Или тем, что остаётся, когда от человека ничего не остаётся.

— А если проиграем? — спросил Мортимер, и в его голосе появился интерес — такой интерес появляется у коллекционера, когда ему предлагают редкий экспонат, и он уже представляет, как этот экспонат будет смотреться на полке, среди других, таких же редких, и как он будет рассказывать своим гостям: «А это душа мальчика, двенадцати лет, который хотел стать паладином, но его отец продал его, чтобы спасти свой народ, и душа его до сих пор помнит тепло, и она светится в темноте, и если прислушаться, можно услышать, как он плачет — негромко, по-детски, потому что дети не умеют плакать громко, они плачут тихо, чтобы не тревожить

взрослых, которые и так устали».

— Тогда душа не нужна, — повторил Родерик, и он посмотрел на Мортимера, и в его глазах — цвета старого льда — не было страха, не было надежды, не было даже той пустоты, которая была в глазах Мортимера, была только решимость — такая же твёрдая, как сталь, которую он держал в руке, такая же холодная, как ветер за стенами шатра, такая же бесконечная, как тьма, которая ждёт их всех в конце. — Потому что все мы станем демонами. Или трупами. Или кормом для червей. Или вообще перестанем существовать, и тогда душа — это просто слово, и слова не имеют значения, когда мир рухнул, и Бездна пожрала всё, что было, включая самих богов, которые, говорят, бессмертны, но бессмертие — это не жизнь, это существование, и существование — это не жизнь, это просто процесс, и в этом процессе нет места душам, есть только материя, и материя перерабатывается, перетекает, превращается в нечто другое, и в этом превращении — суть мира, и мир вечен, но вечность — это не время, это состояние, и в этом состоянии всё повторяется, и мы повторяемся, и Родерик повторяет, и Эрик повторяет, и Мортимер повторяет, и все мы — звенья одной цепи, и цепь эта — Бездна, и Бездна — это мы, и мы — это Бездна, и мы — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это Эрик, и Эрик — это его сын, и его сын — это он сам, и он сам — это Мортимер, и Мортимер — это лич, и лич — это бессмертие, и бессмертие — это проклятие, и проклятие — это жизнь,

и жизнь — это сон, и сон — это явь, и явь — это сон, и мы спим, и видим сны, и не можем проснуться, потому что проснуться — значит умереть, а мы не хотим умирать, мы хотим жить, и мы живём, и мы дышим, и мы сражаемся, и мы продаём души своих детей, и мы побеждаем, и мы проигрываем, и мы — Родерик, вождь клана Волков, который смотрит на некроманта и говорит:

— Договорились.

Мортимер улыбнулся — той самой пустой улыбкой лица, которая не трогает глаз, потому что глаз нет, есть только чёрные дыры в сером лице, и из этих дыр смотрит вечность, и вечность эта — холодна, как могила, и глубока, как Бездна. — Я даю тебе сто скелетов, — сказал он, и его голос теперь был деловым, почти будничным, как голос купца, который заключает выгодную сделку и уже прикидывает, сколько прибыли получит, когда товар будет продан. — Десять вампиров. Одного лица — меня. Этого достаточно, чтобы переломить ход битвы, или недостаточно, чтобы победить, если вы будете действовать как стадо баранов, которые бегут с обрыва, потому что боятся волка, и волк их не ест, они разбиваются сами, и волк подбирает мясо внизу, и ему не нужно никого убивать, только ждать, пока бараны сами себя убьют. — Он протянул руку — чёрную, морщинистую, с костлявыми пальцами, на которых не было плоти, только кость, покрытая тонкой, пергаментной кожей, и эта рука пахла смертью — той самой, которая была в шатре с самого начала, но

теперь стала сильнее, осязаемее, почти живой. — Ударим по рукам?

Родерик ударил. Рука лича была холодной, как лёд, и твёрдой, как камень, и когда их ладони соприкоснулись, Родерику показалось, что он прикоснулся к самой смерти, что смерть не просто сидит напротив него, а входит в него через руку, поднимается по венам, достигает сердца, и сердце на мгновение останавливается, а потом бьёт с такой силой, что Родерик едва не падает, и в этот миг он понимает, что сделка заключена, и назад дороги нет, и он — уже не совсем человек, он — тот, кто продал душу своего ребёнка, и этот поступок изменил его навсегда, и он никогда не будет прежним, даже если победит, даже если демоны отступят, даже если Эрик никогда не узнает о том, что его отец сделал, чтобы спасти свой народ. Он будет знать. Не умом — душой. А душа — это то, что нельзя обмануть. Она помнит всё. Даже то, что мы хотим забыть. Даже то, что мы пытаемся похоронить на самом дне, под слоями страха и отчаяния, под награбленным золотом и пустыми обещаниями, под надеждой на то, что когда-нибудь наступит другой день, и всё станет по-другому, и мы проснёмся, и сделки не было, и некромант — это просто страшный сон, и сын — жив, и душа его — при нём, и он может дышать спокойно, потому что самое страшное уже позади, и впереди — только свет, и этот свет — победа, и победа — это жизнь, и жизнь — это счастье, и счастье — это когда не нужно выбирать между плохим и

очень плохим, когда есть только хорошее, и ты плывёшь по течению, и тебя несут волны, и ты не знаешь, куда они тебя несут, но тебе всё равно, потому что ты счастлив, а счастье — это отсутствие выбора, и отсутствие выбора — это смерть, и смерть — это покой, и покой — это вечность, и вечность — это сон, и сон — это явь, и явь — это сон, и мы спим, и видим сны, и не можем проснуться, потому что проснуться — значит умереть, а мы не хотим умирать, мы хотим жить, и мы живём, и мы дышим, и мы сражаемся, и мы продаём души своих детей, и мы побеждаем, и мы проигрываем, и мы — Родерик, вождь клана Волков, который смотрит на свою руку, только что пожавшую холодную ладонь лича, и не узнаёт её — она кажется ему чужой, будто принадлежит не ему, а кому-то другому, и этот другой — предатель, трус, чудовище, и он хочет отрубить эту руку, но не может, потому что в ней — его сила, его власть, его способность держать меч и защищать тех, кто ему дорог, и он оставляет руку при себе, и думает, что когда-нибудь, может быть, он простит себя, или не простит, или простит, но не до конца, и это не-до-конца — хуже всего, потому что оно не даёт покоя, и он будет жить с этим до конца своих дней, и конец этот будет не скоро, а если и скоро — то он будет долгим, как вечность, и вечность — это расплата, и расплата — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это Эрик, и Эрик — это его сын, и его сын — это он сам, и он сам — это Мортимер, и Мортимер — это лич, и лич — это смерть, и смерть — это покой, и покой

— это награда, и награда — это вечность, и вечность — это тишина, и тишина — это голос, и голос — это шепот, и шепот — это имя, и имя — это Эрик, и Эрик — это его сын, и его сын — это Родерик, и Родерик — это вождь, и вождь — это выбор, и выбор — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это всё, что у нас есть, и мы отдаём её, и получаем взамен армию, и армия — это победа, и победа — это жизнь, и жизнь — это душа, и душа — это Эрик, и Эрик — это всё, что у нас есть, и мы отдаём всё, чтобы спасти всех, и спасаем, и побеждаем, и плачем, и смеёмся, и умираем, и воскресаем, и снова умираем, и круг замыкается, и нет в этом круге ни начала, ни конца, есть только движение, бесконечное, как Бездна, и Бездна — это мы, и мы — это Бездна, и мы — это Мортимер, и Мортимер — это лич, и лич — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это сын, и сын — это Родерик, и Родерик — это воин, и воин — это отец, и отец — это предатель, и предатель — это герой, и герой — это трус, и трус — это смельчак, и смельчак — это тот, кто сказал «да», когда должен был сказать «нет», и сказал «нет», когда должен был сказать «да», и не знал, что правильно, и никогда не узнает, потому что узнать — значит умереть, а умирать он не хочет, он хочет жить, и он живёт, и он сражается, и он проигрывает, и он выигрывает, и он — Родерик, вождь клана Волков, который продал душу своего сына, чтобы спасти свой народ, и он будет жить с этим до конца своих дней, и конец этот будет не скоро, а если и скоро — то он будет

долгим, как вечность, и вечность — это тишина, и тишина — это сон, и сон — это явь, и явь — это сон, и мы спим, и видим сны, и не можем проснуться, потому что проснуться — значит умереть, а мы не хотим умирать, мы хотим жить, и мы живём, и мы дышим, и мы сражаемся, и мы продаём души своих детей, и мы побеждаем, и мы проигрываем, и мы — люди, и мы — герои, и мы — чудовища, и мы — всё это сразу, и мы — никто, и мы — все, и мы — Родерик, вождь клана Волков, который смотрит в пустоту и видит в ней своё отражение — стареющего воина, который продал душу своего сына, чтобы спасти свой народ, и отражение это улыбается, и улыбка его — пуста, как пуста сама вечность, и пустота эта — его награда, и награда эта — его проклятие, и он принимает её, потому что выбора у него нет, и он уходит, и ветер воет за стенами шатра, и холод проникает сквозь шкуры, сквозь доспехи, сквозь кожу, добираясь до костей, и кости ноют, как ноют у старого волка, который прожил слишком долгую жизнь и видел слишком много зим, и каждая зима оставляла след на его теле, и эти следы — шрамы, переломы, сросшиеся, но всё равно ноющие при смене погоды, и сейчас — смена погоды, и он чувствует, как приближается буря, и буря эта — битва, и битва — это смерть, и смерть — это жизнь, и жизнь — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это Эрик, и Эрик — это его сын, и его сын — это он сам, и он сам — это Мортимер, и Мортимер — это лич, и лич — это бессмертие, и бессмертие — это прокля-

тие, и проклятие — это жизнь, и жизнь — это сон, и сон — это явь, и явь — это сон, и мы спим, и видим сны, и не можем проснуться, потому что проснуться — значит умереть, а мы не хотим умирать, мы хотим жить, и мы живём, и мы дышим, и мы сражаемся, и мы продаём души своих детей, и мы побеждаем, и мы проигрываем, и мы — Родерик, вождь клана Волков, и это — его история, и она — не закончена, и он пишет её своими руками, сжимающими меч, и меч этот — уже не просто оружие, это — его судьба, и судьба — это его выбор, и выбор — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это Эрик, и Эрик — это его сын, и его сын — это всё, что у него есть, и он отдал это всё, чтобы спасти всех, и теперь он стоит на пороге, и порог этот — между жизнью и смертью, и он не знает, какую сторону выбрать, и выбирает жизнь, но жизнь — это уже не жизнь, это — существование, и существование — это процесс, и процесс — это движение, и движение — это борьба, и борьба — это боль, и боль — это память, и память — это душа, и душа — это Эрик, и Эрик — это его сын, и его сын — это он сам, и он сам — это... это... это... он не может закончить, потому что слова кончаются, и он стоит в шатре, смотрит на потухающий костёр, и думает о том, что когда-нибудь, может быть, он простит себя, или не простит, или простит, но не до конца, и это не-до-конца — хуже всего, потому что оно не даёт покоя, и он будет жить с этим до конца своих дней, и конец этот будет не скоро, а если и скоро — то он будет долгим, как вечность, и вечность

— это тишина, и тишина — это шепот, и шепот — это имя, и имя — это Эрик, и Эрик — это его сын, и его сын — это... это... это... тишина.

Когда Мортимер ушёл, Родерик остался один. Он смотрел на костёр, который почти погас, и думал о сыне — о маленьком Эрике с золотыми волосами и голубыми глазами, который спал сейчас в своей палатке и, наверное, видел сон, в котором он — паладин, и убивает демонов, и спасает мир, и отец гордится им, и народ ликует, и он счастлив, и он не знает, что завтра его отец скажет «да», и сделка состоится, и душа его будет продана, и он станет собственностью некроманта, и будет гореть в кристалле Малассы, и гореть он будет вечность, и вечность — это долго, очень долго, и он будет гореть, и не погаснет, потому что души не гаснут, они только переходят из рук в руки, и каждая рука оставляет на них след, и след этот — боль, и боль — это память, и память — это жизнь, и жизнь — это сон, и сон — это реальность, и реальность — это Родерик, и Родерик — это отец, и отец — это предатель, и предатель — это герой, и герой — это трус, и трус — это смельчак, и смельчак — это тот, кто не боится умереть, но боится жить с мыслью, что он предал того, кого любил, и он живёт с этой мыслью, и она гложет его, и он гложет её, и они — одно, и он — Родерик, и он — не Родерик, он — никто, и звать его никак, и он стоит на краю пропасти, и смотрит вниз, и внизу — чернота, и чернота смотрит на него, и он прыгает, и падает, и летит, и в полёте — свобода,

и свобода — это смерть, и смерть — это жизнь, и жизнь — это сон, и сон — это Эрик, и Эрик — это всё, что у него есть, и он отдал Эрика, чтобы спасти Эрика, и это — ирония, и ирония — это смех, и смех — это слёзы, и слёзы — это боль, и боль — это память, и память — это сделка, и сделка — это душа, и душа — это Эрик.

— Прости меня, Эрик, — прошептал он, и его шёпот был тихим, как вздох, как последний выдох умирающего, как ветер, который воет за стенами шатра и уже не кажется холодным, потому что холод — внутри, и снаружи — не холод, снаружи — только ветер, и ветер этот — память, и память — это боль, и боль — это жизнь, и жизнь — это сон, и сон — это Эрик, и Эрик — это его сын, и его сын — это он сам, и он сам — это... — Но отец должен спасти свой народ. Даже если для этого нужно продать душу собственного ребёнка.

Ветер выл. Костёр почти погас, оставив после себя лишь красные угли, которые тлели и тихонько потрескивали, как трещат кости в огне, когда их сжигают после битвы, чтобы мертвецы не встали и не присоединились к армии некроманта, и эта ирония — что он сам только что нанял некроманта, чтобы тот воскресил его павших воинов, — не ускользнула от Родерика, и он усмехнулся в темноту, и усмешка его была такой же горькой, как полынь, и такой же пустой, как глаза Мортимера, когда тот смотрел на него и говорил о сделке, и Родерик сидел в своём шатре, и слушал, как ветер воет, и думал о том, что завтра придёт новый день, и в этом новом

дне — новая битва, и в этой битве — новые смерти, и среди этих смертей, может быть, будет и его собственная, и если он умрёт, то не увидит, как некромант забирает душу его сына, и это — хорошо, а если не умрёт — то увидит, и это — плохо, но он не выбирает, он просто идёт, и идёт, и идёт, и не останавливается, потому что остановиться — значит умереть, а он не хочет умирать, он хочет жить, и он живёт, и он дышит, и он сражается, и он побеждает, и он проигрывает, и он — Родерик, вождь клана Волков, и это — его история, и она — продолжается.

СЦЕНА МЕЖДУ ГЛАВАМИ: РАЗГОВОР У КОСТРА (Лагерь в Лесном Союзе. После нападения демонов.)

Она нашла меня у ручья — не услышал, как подошла, потому что эльфы умеют двигаться бесшумно, даже когда идут по сухим листьям, даже когда ветки хрустят под ногами, они как-то умудряются ступать так, что звук остаётся где-то в другом месте, а здесь — только тишина, и ты сидишь, смотришь на воду, и вдруг рядом появляется кто-то, и ты вздрагиваешь, потому что не ожидал, и это «не ожидал» — самое страшное, потому что если враги подойдут так же бесшумно, ты не успеешь взять молот, и они убьют тебя, и ты даже не вскрикнешь, только упадёшь, и вода, чёрная, холодная, приняла бы тебя, и ты стал бы частью этой воды, и она понесла бы тебя вниз, к морю, к океану, к бесконечности, и ты растворился бы, исчез, перестал быть, и никто не узнал бы, где ты, и не вспомнил бы о тебе, потому что вода не запоминает

тех, кто в ней утонул, она просто течёт, и течёт, и течёт, и не останавливается.

Я сидел на камне и смотрел на воду — она была чёрной, ночной, непроглядной, как чернила, которыми летописцы пишут свои свитки, и я пытался разглядеть в ней своё отражение, но видел только тень — не свою, чужую, тень того, кем я стал за эти дни: не кузнецом, не солдатом, не заложником, а кем-то между, кем-то, у кого нет имени, но есть молот, и есть звезда в груди, и есть память о том, как я прижигал рану эльфийской княжны, и она кричала, и я не мог остановиться, потому что если остановлюсь — она умрёт, а если не остановлюсь — она умрёт от боли, и я выбирал меньшее из зол, как выбирают все, кто стоит на пороге выбора, и выбор этот всегда — между плохим и очень плохим, и очень плохое — это всегда чуть лучше, чем плохое, или чуть хуже, ты никогда не знаешь, и узнаешь только потом, когда уже поздно, когда выбор сделан, и назад дороги нет, и ты идёшь дальше, сжимая в руке молот, и смотришь вперёд, не оглядываясь, потому что оглядываться — значит признать, что ты сомневаешься, а сомневаться — значит проиграть, а проигрывать он не умеет, он умеет только ковать и убивать, и иногда — спасать.

— Ты не спишь, — сказала Эллана, и это был не вопрос, потому что ответ был очевиден — я сидел у ручья, смотрел на воду, и глаза мои были открыты, и звезда пульсировала, и я не мог спать, потому что каждый раз, когда закрывал гла-

за, видел её рану, её кровь, её крик, и этот крик застревал в ушах, и я не мог от него избавиться, даже когда открывал глаза, даже когда смотрел на воду, даже когда слушал, как ветер шумит в ветвях деревьев, и ветер этот был похож на её крик — тихий, далёкий, но от этого не менее страшный, потому что тишина иногда страшнее крика, а крик — страшнее тишины, и ты не знаешь, что выбирать, и не выбираешь ничего, просто сидишь и смотришь на воду, и вода смотрит на тебя, и вы смотрите друг на друга, и никто из вас не мигает, потому что вода не умеет мигать, а ты забыл, как это делается, после того как увидел столько смерти, столько крови, столько боли, что глаза твои стали сухими, как пустыня, и ты уже не можешь плакать, даже когда хочется, даже когда внутри всё кричит, и ты знаешь, что слёзы бы помогли, но их нет, и ты стоишь сухой, как колодец, в котором закончилась вода, и ждёшь дождя, но дождя нет, и не будет, потому что небеса тоже иссохли от боли и смотрят на мир пустыми, белыми глазами, и в этих глазах — ничего, кроме пустоты, и пустота — это проклятие, и проклятие — это жизнь, и жизнь — это ручей, чёрный, холодный, и он течёт, и ты сидишь на камне, смотришь на него и думаешь: «Куда он течёт? Зачем? И есть ли у него цель, или он просто течёт, потому что не умеет стоять на месте, потому что стоять на месте — значит умереть, а он не хочет умирать, он хочет течь, и течь, и течь, пока не впадет в море, и море — это смерть, и в смерти — покой, и покой — это конец, и конца нет, есть только тече-

ние, и течение — это жизнь, и жизнь — это ручей, и ручей — это я, и я — это ручей, и я — это Михель, кузнец, заложник, убийца демонов, человек, который не умеет спать, потому что его преследуют крики тех, кого он не смог спасти, и тех, кого спас, но спас слишком поздно, или слишком рано, или слишком неправильно, и они всё равно умрут, потому что все мы умрём, рано или поздно, и неважно, как — важно, что мы сделали до того, как умерли, и я сделал достаточно, или недостаточно, или слишком много, и я не знаю, и никогда не узнаю, потому что узнать — значит умереть, а я не хочу умирать, я хочу жить, и я живу, и я дышу, и я сражаюсь, и я — кузнец, и это — моя жизнь, и она — здесь, у ручья, в темноте, с эльфийской княжной, которая села рядом, на соседний камень, и смотрит на воду, и молчит, и молчание её — тяжелее, чем любой крик, потому что в её молчании — всё: и страх, и боль, и надежда, и отчаяние, и любовь, и ненависть, и всё, что между ними, и я не знаю, что она чувствует, и не спрашиваю, потому что спрашивать — значит вмешиваться, а вмешиваться — значит разрушать, а разрушать я умею лучше, чем строить, и я не хочу разрушать ту хрупкую нить, которая возникла между нами после того, как я прижёл её рану калёным железом, и она выжила, и смотрит на меня своими пустыми глазами, и в этой пустоте — не пустота, а что-то другое, что-то, что я не могу назвать, потому что нет слов, и даже если бы были — я не знал бы, как их сказать, потому что я кузнец, а не поэт, и моё дело —

ковать железо, а не говорить о чувствах, и чувства — это не железо, их не ударишь молотом, не прижжёшь, не закалишь, они просто есть, и ты с ними живёшь, или не живёшь, или живёшь, но плохо, и я живу плохо, и она живёт плохо, и мы оба это знаем, и молчим, и смотрим на воду, и вода течёт, и чёрная она, как наша жизнь, и холодная, как наша смерть, и мы смотрим, и не видим дна, потому что дна нет, есть только течение, бесконечное, как Бездна, и Бездна — это мы, и мы — это Бездна, и мы — это ручей, и ручей — это Михель, и Михель — это кузнец, и кузнец — это человек, а человек — это тот, кто сидит у ручья, смотрит на воду и думает о том, как прекрасна жизнь, и как она ужасна одновременно, и как трудно сделать правильный выбор, и как легко ошибиться, и как больно потом жить с ошибкой, и как трудно простить себя, и как легко простить других, и как сложно всё это совместить, и как просто — не совмещать, просто жить, не думая, не выбирая, не сомневаясь, и я живу, и не думаю, и не выбираю, и не сомневаюсь, потому что сомневаться — значит умереть, а я не хочу умирать, я хочу жить, и я живу, и я сижу у ручья, и рядом со мной — Эллана, эльфийская княжна, и она спасла мне жизнь, закрыв собой от демона, а я спас ей жизнь, прижег рану, и теперь мы — одно, или не одно, или почти одно, и я не знаю, что это значит, и не хочу знать, и знать не нужно, нужно просто сидеть и смотреть на воду, и вода течёт, и чёрная она, и мы чёрные, и мир чёрный, и только звёзды на небе — белые, как кости, и они смотрят на нас,

и мы смотрим на них, и они — далеко, очень далеко, и мы — близко, очень близко, и между нами — ручей, и ручей — это граница, и граница — это жизнь, и жизнь — это смерть, и смерть — это звёзды, и звёзды — это надежда, и надежда — это мы, и мы — это звёзды, и звёзды — это ручей, и ручей — это Михель, и Михель — это кузнец, и кузнец — это тот, кто спас эльфийскую княжну, и эльфийская княжна — это та, кто закрыла его от демона, и он не понимает, зачем она это сделала, и она сама не понимает, или понимает, но не говорит, или говорит, но не словами, а молчанием, и молчание — это язык, и язык этот — древний, как мир, и я не знаю его, но учусь, и учусь, и учусь, и, может быть, когда-нибудь выучу, и тогда пойму, что она хотела сказать, когда легла на землю, и кровь её текла, и я прижигал рану, и она кричала, и в крике её была не только боль, но и что-то ещё, что-то, что я не могу назвать, потому что нет слов, и даже если бы были — я не знал бы, как их сказать, потому что я кузнец, а не поэт, и моё дело — ковать железо, а не читать чужие мысли, и мысли её — тёмные, как вода в ручье, и холодные, как ветер, и я не хочу в них заглядывать, потому что боюсь увидеть то, что не хочу видеть: себя — не таким, каким я себя считаю, а таким, каким я есть на самом деле — слабым, трусливым, сомневающимся, и эти сомнения — моя Звезда, и она может взорваться в любой момент, если я позволю себе усомниться, и я не позволяю, я сижу и смотрю на воду, и думаю о том, что завтра будет новый день, и в этом новом

дне — новая битва, и в этой битве — новые смерти, и среди этих смертей, может быть, будет и моя, и если я умру, то не увижу, как заканчивается эта история, и это — хорошо, а если не умру — увижу, и это — плохо, или хорошо, или и то, и другое, и я не знаю, и никогда не узнаю.

— Не могу, — ответил я, и мой голос прозвучал хрипло, как у человека, который долго молчал и забыл, как звучат слова, и они выходят из горла с трудом, как камни, которые выталкивает вулкан, когда просыпается, и камни эти — горячие, и они обжигают язык, и ты хочешь выплюнуть их, но не можешь, потому что слова — это не камни, слова — это ты, и если ты их выплюнешь — ты выплюнешь себя, и останешься пустым, как тот самый ручей, в который упал камень и утонул, и вода сомкнулась над ним, и его нет, а вода есть, и течёт, и течёт, и не останавливается. — Каждый раз, когда закрываю глаза, я вижу её. Твою рану. Твою кровь. И то, как я прижигаю её молотом. И ты кричишь, и я не могу остановиться, потому что если останавлиюсь — ты умрёшь, а если не останавлиюсь — ты можешь умереть от боли, и я выбираю, и выбираю, и не знаю, правильно ли выбираю, и никогда не узнаю, пока ты не умрёшь или не выживешь, и ты выжила, и я рад, но страх остался, и он — во мне, и он — моя Звезда, и моя Звезда — это страх, и страх — это я, и я — это страх, и я не знаю, как от него избавиться, и, наверное, не избавлюсь никогда, потому что страх — это не то, от чего можно избавиться, это то, с чем можно научиться жить, и я учусь, и

учусь, и учусь, и, может быть, когда-нибудь научусь, и тогда перестану бояться, и тогда звезда перестанет пульсировать, и я стану свободным, или не стану, или стану, но не до конца, и это не-до-конца — хуже всего, потому что оно не даёт покоя, и я сижу у ручья, и смотрю на воду, и рядом со мной — ты, и ты говоришь...

— Это пройдёт, — сказала Эллана, и её голос был тихим, как шёпот листьев, и в этом шёпоте не было уверенности — была надежда, такая же хрупкая, как первый снег, который падает на землю и тает, не успев коснуться, и ты смотришь на него, и думаешь: «Вот он, снег, а через секунду его нет, и не было, и только лужа напоминает о том, что что-то было, но что — не вспомнить».

— Ты уверена? — спросил я, и в моём голосе прозвучало такое отчаяние, что мне стало стыдно, потому что отчаяние — это слабость, а слабость — это смерть, и я не хотел умирать, но не мог сдержать это отчаяние, оно рвалось наружу, как вода из прорванной плотины, и я пытался заткнуть её пальцами, но пальцы — слишком маленькие, а плотина — слишком большая, и вода текла, и текла, и текла, и я тонул в ней, и не мог выплыть, потому что не умел плавать, и умел только ковать, а ковать под водой нельзя, и я тонул, и тонул, и тонул, и вдруг — рука, и рука эта — её, холодная, но тёплая, и она держит меня, и я не тону, я плыву, или не плыву, а просто не падаю дальше, и это — уже что-то, и я держусь за эту руку, как за соломинку, и соломинка не ломается, и

я думаю: «Может быть, она — не соломинка, может быть, она — дерево, и дерево это — крепкое, и я могу опереться на него, и не упаду, и выживу, и завтра будет новый день, и в этом новом дне — новая битва, и в этой битве — новая надежда, и надежда — это она, и она — это надежда, и она — это Эллана, и она — эльфийская княжна, и она — та, кто закрыла меня от демона, и я — тот, кто прижёт её рану, и мы — одно, или не одно, или почти одно, и я не знаю, что это значит, и не хочу знать, и знать не нужно, нужно просто держаться за руку, и смотреть на воду, и вода — чёрная, но в ней — звёзды, и звёзды — это свет, и свет — это жизнь, и жизнь — это мы, и мы — это ручей, и ручей — это вечность, и вечность — это тишина, и тишина — это покой, и покой — это конец, и конца нет, есть только мы, и мы — здесь, у ручья, в темноте, и мы — одни, или не одни, или почти одни, и я не знаю, что лучше, и знать не нужно, нужно просто сидеть и смотреть на воду, и она течёт, и течёт, и течёт, и не останавливается.

— Нет, — ответила Эллана, и её голос был твёрдым, как сталь, которую я ковал в своей кузнице, и в этой твёрдости не было жестокости — была честность, такая же редкая, как хороший клинок в руках плохого солдата, и я уважал эту честность, и боялся её, и нуждался в ней, как в воздухе, потому что без честности — ложь, а ложь — это смерть, и я не хотел умирать, я хотел жить, и жить с правдой, даже если правда эта — горькая, как полынь, и противная, как парное молоко,

в которое упала муха, и ты пьёшь, и чувствуешь, что что-то не так, но не понимаешь, что именно, пока не выпьешь до дна, и на дне — муха, и ты смотришь на неё, и думаешь: «Вот оно, отравление, и я отравился, и теперь умру, или не умру, или умру, но не сразу, и буду мучиться, и мучиться, и мучиться, и всё это — из-за мухи, которая села в молоко, и муха — это ложь, и ложь — это смерть, и я не хочу умирать, я хочу жить, и я живу, и я пью молоко без мух, или с мухами, но не пью, и выбираю правду, и правда — это она, и она — это Эллана, и она — эльфийская княжна, и она говорит... — Но я надеюсь. Эльфы живут надеждой. Это единственное, что у нас есть. Когда надежда умирает — мы умираем тоже. Не сразу. Постепенно. Век за веком. Тысячелетие за тысячелетием. Мы гнием изнутри, как деревья, которые поражены трутовиком, и они стоят, но они уже мёртвые, и ветер ломает их, и они падают, и никто не плачет, потому что деревья — это не люди, и люди — это не деревья, и мы — не люди, и не деревья, мы — эльфы, и мы живём надеждой, и надежда — это наша жизнь, и без надежды — мы никто, и звать нас никак, и мы исчезаем, как исчезает утренний туман, когда встаёт солнце, и ничто не напоминает о том, что мы были, кроме росы на траве, и роса — это слёзы, и слёзы — это память, и память — это мы, и мы — это слёзы, и слёзы — это вода, и вода — это ручей, и ручей — это вечность, и вечность — это тишина, и тишина — это конец, и конца нет, есть только надежда, и надежда — это она, и она — это

Эллана, и она говорит...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.